

ОТ АВТОРА РОМАНА "ДЕТИ ПОЛУНОЧИ"
УДОСТОЕННОГО ПРЕМИИ БУКЕР

САЛМАН

РУШДИ

ПРОЩАЛЬНЫЙ

ВЗДОХ МАВРА



Салман Рушди

Прощальный вздох мавра

«Corpus (ACT)»

1995

УДК 821.111-312.9
ББК 84(4Вел)-44

Рушди С.

Прощальный вздох мавра / С. Рушди — «Corpus (ACT)», 1995

ISBN 978-5-17-104962-1

Мораиш Зогойби по прозвищу Мавр излагает семейную историю, вплетая в нее рассказы о современной Индии, в которых вымысел переплетается с правдой, но правит всем безудержное воображение автора. Сага о семействе да Гама – Зогойби, о проклятьях и ненависти, о безумной страсти, о преступных наклонностях и тяге к прекрасному, перемежается монологами главного героя, посвященными искусству, религиозному фанатизму, национальным традициям и, конечно же, любви.

УДК 821.111-312.9

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-104962-1

© Рушди С., 1995
© Corpus (ACT), 1995

Содержание

I		6
	1	6
	2	9
	3	20
	4	37
	5	40
	6	47
	7	58
	8	69
	Конец ознакомительного фрагмента.	73

I

Разделенный дом



1

Я потерял счет дням с той поры, как бежал от ужасов безумной горной крепости Васко Миранды в андалусском городке Бененхели, – бежал от смерти под покровом темноты, прибив к двери свое послание. Затем на моем голодном, подернутом знойной дымкой пути были и другие пучки исписанных страниц, взмахи молотка, острые вскрики вгоняемых в дерево двухдюймовых гвоздей. Давно, когда я был еще зелен, любимая сказала мне нежно: “Мавр ты мой, странный темный человек, всегда-то у тебя полно тезисов, как у Лютера, только вот нет церковной двери, чтобы их прибить”. (Женщина, считающая себя благочестивой индуисткой, поминает воззвание Лютера в Виттенберге, чтобы подразнить своего совершенно неблагочестивого возлюбленного, потомка индийских христиан, – какими только дорожками не ходят истории, из каких только уст не звучат!) К несчастью, разговор услышала моя мать и выстрелила, словно затаившаяся змея: “Не знаю, как насчет лютеровости, а вот лютости ему не занимать”. Да, мама, последнее слово на эту тему осталось за тобой (впрочем, на все другие – тоже).

“Амрика” и “Москва” – так их кто-то прозвал, мою мать Аурору и мою возлюбленную Уму, намекая на враждующие сверхдержавы; говорили, что две женщины похожи одна на другую, но я не видел этого, не в состоянии был увидеть. Обе умерли не своей смертью, а я оказался в чужой стране, где в спину мне дышит погибель, а в руках лежит их история, которую я распиная на воротах, заборах, стволах олив, которой помечаю ландшафт вдоль моего последнего пути, – история, указывающая на меня. Мой побег превратил местность в подобие пиратской карты, изобилующей подсказками, подводящей вереницей косых крестиков к сокровищу, которое – я сам. Когда преследователи доберутся до меня по оставленным мной приметам, они найдут меня безропотно ожидающим, трудно дышащим, готовым. *Здесь я стою. И не могу ничего сделать иначе.*

(Скорее уж, здесь я сижу. В этом сумрачном лесу – то есть на этой масляной горе, в этой роще, под взорами накренившихся так и сяк каменных крестов маленького заросшего кладбища, чуть вниз по дороге от бензоколонки *Ultimo Suspiro*¹, – без Вергилия и без нужды в нем, на половине земного пути, по запутанным причинам ставшей его концом, я, как пес, подышаю от изнеможения.)

Мало ли что, милые дамы, можно приколотить гвоздями. Скажем, флаг к мачте. Но после не столь уж длинной (хоть и расцвеченной многими флагами) жизни я остался вовсе без тезисов. Сама жизнь – чем не распятие?

Когда у тебя кончается пар, когда воздух, гнавший тебя вперед, почти на исходе, самое время исповедаться. Пусть это будет завещание, предсмертная (не слишком-то вольная) воля; балаган “Последнее издыханье”. Вот объяснение этого “здесь-я-стою-или-сижу” с пригвожден-

¹ Прощальный вздох (*исп.*). (Здесь и далее – прим. перев.).

ными к ландшафту самообличеньями и ключами от красной крепости в кармане, вот объяснение этой краткой паузы перед окончательной капитуляцией.

Подобает, следственно, пропеть песнь конца: о том, что существовало и не могло существовать далее; о том, что было хорошо и что худо. Испустить прощальный вздох по утраченному миру, уронить слезу ему вдогонку. Также, впрочем, и прокричать прощальное “ура”, протравить последнюю отравленную скандальную байку (за неимением видео придется довольствоваться словами), сыграть несколько неблагозвучных поминальных мелодий. Слушайте историю Мавра, полную шума и ярости. Желаете? Впрочем, пусть даже и не желаете. А для начала передайте-ка сюда перец.

– *Что вы сказали?*

От удивленья заговорить способны и деревья. (А вы – вы никогда в отчаянье и мраке не обращались к стене, пустому воздуху, чучелу собаки?)

Повторяю: перец, пожалуйста; ибо, если бы не эти зерна, то, что завершается сейчас на Западе и на Востоке, не началось бы вовсе. Перец заставил стройные корабли Васко да Гамы пройти двумя океанами от лиссабонской башни Белен до Малабарского побережья – сначала в Каликут, а оттуда в Кочин с его удобной гаванью-лагуной. Вслед за португальцем-первопроходцем потянулись англичане и французы, так что в эпоху так называемого открытия Индии – хотя как можно было нас открыть, если никто нас до этого не закрывал? – мы были, как выразилась моя прославленная мать, не оправленной жемчужиной, а приправою к ужину. “С самого начала было ясно, чего добивался мир от пресловутой матери-Индии, – говорила она. – Пикантностей всяких, ради чего мужчины в бордель ходят”.

Слушайте мою историю, историю опалы, какой подвергся высокородный полукровка – я, Мораиш Зогайби, прозванный Мавром, большую часть жизни единственный мужчина-наследник добытых благодаря торговле специями и прочим товаром несметных богатств семейства да Гама-Зогайби из Кочина, отлученный от всего, на что, как считал, имел полное и неотъемлемое право, волей собственной матери Ауроры, урожденной да Гама, выдающейся художницы, ярчайшей из наших мастеров нынешнего века и в то же время самой острой на язык женщины в своем поколении, от которой всякий, кто к ней приближался, получал изрядную долю перца. Ее собственные дети не составляли исключения. “Мы девички-католички, богомное отродье, у нас в жилах полно красного перца чили, – говорила она. – И никаких поблажек родимой плоти и крови! Милые вы мои, плоть – наша пища, кровь – любимый напиток”.

“Быть отпрыском нашей inferнальной Ауроры, – услышал я в юности от Васко Миранды, художника из Гоа, – воистину означает быть Люцифером наших дней. Ну, ты понял – сыном зари²”. К тому времени моя семья уже переехала в Бомбей, и в том подобии рая, каким был легендарный салон Ауроры Зогайби, эти слова могли сойти за комплимент; но я вспоминаю их как пророчество, ибо настал день, когда я был изгнан из этого сказочного сада и низвергнут в Пандемониум. (Лишенный своей натуральной среды, мог ли я не соблазниться ее противоположностью? Я имею в виду *антинатурализм* – единственный реальный изм нашего абсурдного, вывернутого наизнанку времени. Кого отвергла МА-ТЬ, того, разумеется, манит ТЬ-МА. Вышвырнутый из своей истории, Мораиш Зогайби покатился к истории мировой.)

– *И все это высыпалось из перечницы!*

Ну, тут не один, конечно, перец – еще и кардамон, кешью, корица, имбирь, фисташки, гвоздика; а помимо орехов и специй – кофе и его величество чайный лист. Но приходится признать, что, как говорила Аурора, “перец шел даже не в первую очередь, а вне всякой очереди, поскольку, если хочешь быть первым, не надо становиться ни в какую очередь”. И что верно в отношении всей индийской торговли, верно и в отношении наших семейных капиталов: перец,

² Люцифер в переводе с латыни означает “утренняя звезда”. Аврора – римская богиня утренней зари.

вожделенное черное золото Малабара, был главным источником дохода моих до неприличия богатых предков, крупнейших в Кочине торговцев пряностями, орехами, кофе и чаем, которые без всяких оснований, если не считать вековой молвы, вели свой род от побочного сына самого великого Васко да Гамы!..

Никаких больше секретов. Все написано и пригвождено.

2

В тринадцать лет моя мать Аурора да Гама взяла моду ночами бродить босиком по большому, полному запахов дому ее деда и бабки на острове Кабрал – в то время ее часто посещала бессонница, и, странствуя по комнатам, она неизменно распахивала повсюду окна: сначала внутренние створки, затянутые тонкой сеткой, что защищала обитателей дома от крохотных москитов, затем рамы с витражами, и наконец, ставни из деревянных планок. Вследствие этого Эпифания, шестидесятилетняя владычица дома, в чьей личной москитной сетке за годы образовалось изрядное число небольших, но существенных прорех, которых она не замечала по близорукости или прикидывалась, что не замечает, по скупости, – вследствие этого она каждое утро просыпалась от зуда в костлявых руках с голубоватыми прожилками и испускала писклявый вопль при виде насекомых, вьющихся вокруг подноса с чаем и сладким печеньем, поставленного у ее кровати служанкой Терезой (та мгновенно исчезала). Эпифанией овладевал приступ бесполезного хлопанья и расчесыванья, она металась по своей вогнутой кровати-лодке из тикового дерева и нередко проливала чай на кружевное покрывало или белую муслиновую ночную рубашку с высоким оборчатый воротником, скрывавшим ее когда-то лебединую, а теперь морщинистую шею. И пока она колотила направо и налево зажатой в одной руке мухобойкой, одновременно терзая себе спину длинными ногтями другой руки, ночной чепец падал с головы Эпифании да Гамы, открывая спутанные седые патлы, сквозь которые, увы, слишком явственно просвечивала усеянная крапинками кожа. Когда юная Аурора, подслушивавшая за дверью, решала, что шум и ярость ненавистной бабки (проклятия, звон разбитой чашки, бесильные шлепки мухобойки и презрительное жужжание москитов) достигли апогея, она изобразила на лице сладчайшую улыбку и таким легким ветерком влетала в спальню почтенной вдовы с преувеличенно радостным пожеланием доброго утра, прекрасно понимая, что бешеная злость матери всего кочинского семейства да Гама, застигнутой в старческой беспомощности, теперь выплеснется за все мыслимые пределы. Эпифания, стоя на коленях посредине залитой чаем простыни, тряся всклокоченными волосами, размахивая мухобойкой, как сломанной волшебной палочкой, голосила при виде непрошеной гостьи наподобие настоящей ведьмы или ракшасы³ – к тайному удовольствию Ауроры.

– Охо-хо, девчонка, как ты меня напугала, когда-нибудь ты мне сердце погубишь!

Вот так идея убийства бабушки была высказана в присутствии Ауроры да Гамы самой предполагаемой жертвой. После этого моя мать стала строить разнообразные планы, но ее все более зловещие фантазии о ядах и отвесных утесах неизменно наталкивались на практические препятствия – например, на невозможность раздобыть кобру и заманить ее в постель Эпифании или на категорическое нежелание старой карги ступать по любой земле, где имеются “горбы и ямы”. И хотя Аурора прекрасно знала, где взять остро заточенный кухонный нож, и даже была уверена, что ей хватит сил задушить Эпифанию голыми руками, эти варианты она отвергла тоже, поскольку отнюдь не желала попадаться и понимала, что неприкрытое убийство может повлечь за собой неприятные вопросы. Не в состоянии изобрести безупречное преступление, Аурора продолжала разыгрывать безупречную внучку – но втихомолку предавалась мечтаньям, не замечая, что жестокость этих мечтаний сродни жестокости самой Эпифании.

– Ничего, потерпим, – говорила она себе. – Придет мое времечко.

Пока что она влажными ночами бродила по комнатам, открывала окна и порой выбрасывала в них ценные вещицы: резные деревянные фигурки с хоботом вместо носа, которые потом покачивались на волнах лагуны и стучались в стены стоящего на острове дома; искусно обработанные слоновьи бивни, которые, разумеется, сразу шли на дно. Несколько дней семья

³ *Ракиаса* – злой демон в индуистской мифологии.

недоумевала, пытаясь понять, что происходит. Сыновья Эпифании да Гамы – Айриш, дядя Ауроры, и ее отец Камоинш – проснувшись, обнаруживали, что зловредные ночные ветерки повыводили рубашки из шкафов и деловые бумаги из выдвижных ящиков. Проворные пальчики сквозняков развязывали горловины джутовых мешков, что, подобно часовым, неизменно стояли вдоль сумрачных коридоров служебной части дома и содержали образцы товара – зёрна крупного и мелкого кардамона, лист карри, орехи кешью, – и в результате фисташки и семена фенугрека принимались бешено скакать по истертому старому полу, выложенному известняком с применением древесного угля, яичных белков и прочих позабытых ингредиентов, и запах специй мучил владычицу дома, которая с годами все больше страдала аллергией на эти источники семейного благополучия.

И если москитам довольно было открытых сетчатых створок, а противным сквознякам – распахнутых рам, то сквозь растворенные ставни в дом проникало все остальное: пыль, мельтешенье лодок в кочинской гавани, гудки грузовых судов и пыхтенье буксиров, соленые шутки рыбаков и пульсация боли в их обожженных медузами ногах, солнце острее ножа, зной, способный убить, как затянутая вокруг головы сохнущая тряпка, крики лодочников-торговцев, долетающая по воде из Маттанчери печаль неженатых евреев, ощущение постоянной опасности из-за контрабандистов, вывозящих изумруды, махинации конкурентов, нарастающая нервозность британцев в кочинском форте, денежные требования управляющих и рабочих на плантациях в Пряных горах, толки о подрывной деятельности коммунистов и политике Индийского национального конгресса, фамилии *Ганди* и *Неру*, разговоры о голоде на востоке и голодовках на севере, песни и стук барабанов бродячих сказителей, тяжелый гул накатывающих на хлипкую пристань острова Кабрал волн истории.

– Что за мерзопакостная страна, боже ты мой, – ругался за завтраком дядя Айриш в своей лучшей манере. – А тут кому-то приобшиться к ней захотелось, да? Опять какой-то хулиган-безобразник впустил ее в дом. Что у нас здесь, черт возьми, – пристойное жилище или, извините за выражение, сральня?

В то утро Аурора поняла, что зашла слишком далеко: дело в том, что ее нежно любимый отец Камоинш, небольшого роста, прямой как палка человечек с эспаньолкой и в яркой длиннополой перепоясанной рубашке, которого тростинка-дочь уже переросла на целую голову, вывел ее на маленькую пристань, и там, чуть не прыгая от возбуждения и избытка чувств, так что на фоне невероятной красоты неутомимо-деятельной лагуны его можно было принять за персонаж из сказки, за танцующего на поляне эльфа или доброго джинна из волшебной лампы, он заговорщическим шепотом поведал ей великую и волнующую весть. Названный в честь прославленного поэта⁴ и мечтательный от природы (хотя и не даровитый), Камоинш пугливо предположил, что в доме появился призрак.

– Я верю, – сказал он онемевшей от изумления дочери, – что к нам вернулась твоя дорогая мамочка. Ты помнишь, как она любила свежий воздух, как она сражалась из-за него с твоей бабушкой; а теперь каким-то чудом окна стали распахиваться. И подумай, дочь моя, какие вещи стали пропадать! Именно то, чего она терпеть не могла, правда ведь? *Слонобоги Айриша*, так она их называла. Они-то и исчезли теперь, все статуэтки Ганеши⁵ из дядиной коллекции. Плюс слоновая кость.

Эпифанские бивни. Слишком много слонов на один дом. Покойная Белла да Гама всегда говорила, что думала.

– Мне кажется, сегодня ночью, если я не лягу спать, я, может быть, вновь увижу ее незабвенное лицо, – признался Камоинш со страстной тоской. – Что ты на это скажешь? Нам подан

⁴ Имеется в виду великий португальский поэт Луиш ди Камоинш (ок. 1524–1580), в русской традиции – Камоэнс.

⁵ *Ганеша* – один из богов индуистского пантеона. Изображается в виде человека со слоновьей головой.

знак, это ясно. Побудешь ночью со мной? У нас с тобой горе одно на двоих: мне без супруги туго, тебе без мамашки тяжело.

Аурора, густо покраснев, крикнула:

– Не верю я ни в какие гадкие привидения! – и побежала в дом, не в силах сказать правду, не в силах признаться, что она сама была призраком своей умершей матери, за нее совершала поступки, говорила ее отлетевшим голосом; что ночными хождениями она воскрешала мать, впускала покойницу в свое тело, вцеплялась в смерть, отрицала ее, утверждала постоянство любви до гроба и за гробом; что она стала для матери новой зарей, новым вместилищем ее духа, двумя женщинами в одной.

(Много лет спустя она назовет свой собственный дом “Элефанта”; так что слоновьи дела, как и призрачные, будут и дальше играть роль в нашей саге.)

Со дня смерти Беллы тогда прошло только два месяца. Адовой Беллы, как часто называл ее дядюшка Айриш (он, надо сказать, давал прозвища всем подряд, грубо навязывая внешнему миру свою внутреннюю вселенную); Изабеллы Химены да Гамы, бабушки, которую я не застал в живых. Они с Эпифанией сразу начали враждовать. Овдовев в сорок пять лет, Эпифания тут же принялась играть роль главы дома; бывало, усевшись с блюдцем фисташек в утренней прохладе своего любимого дворика, она обмахивалась веером, властно трещала разгрызаемой скорлупой и пела немилосердно громким голосом:

Шафто мой ушел в похо-од,
Он вернется через го-од...

– Крак! Крак! – раскалывались орехи у нее во рту.

Хоронить меня вернется
Беденький мой Шафто.

За все годы ее жизни только Белла ни разу не испытала перед ней страха.

– Все не так, – задорно заявила свекрови девятнадцатилетняя Изабелла на следующий же день после того, как она вошла в дом на правах нежеланной, но скрепя сердце принятой молодой невестки. – Не хоронить и не беденький. Очень мило с вашей стороны петь в таком возрасте любовную песню, но из-за неправильных слов получается бессмыслица, разве не так?

– Камоинш, – сказала окаменевшая Эпифания, – попроси свою благоверную закрыть кран. Она нам дом кипятком зальет.

В последующие дни попури из народных песенок с вариациями и импровизациями звучало с удвоенной силой: *Как нам быть с вопросом странным?* – вместо “матросом пьяным”, – на что новоиспеченная невестка реагировала сдавленным смехом; Эпифания, нахмурившись, меняла пластинку: *Тихо веслами греби, друга милого вези*, – пела она, видимо, советуя Белле уделять больше внимания своим супружеским обязанностям, и афористически-назидательно заканчивала: *Как в народе говорится*, – *крак! – ты жена, а не царица*.

О эти легенды о битвах в кочинском семействе да Гама! Я передаю их так, как они дошли до меня, приукрашенными и отполированными после многих пересказов. В них – призраки былого, дальние тени, и я рассказываю эти истории, чтобы с ними распрощаться; кроме них у меня ничего не осталось, и я выпускаю их на волю. От кочинской гавани до бомбейской, от Малабарского побережья до Малабар-хилла⁶; истории наших соединений и разрывов, наших

⁶ Малабар-хилл – фешенебельный район Бомбея.

взлетов и падений, наших *горбов и ям*. А там – прощай, Маттанчери, прощай, Марин-драйв⁷... так или иначе, к тому времени, как в изголодавшемся по детям семействе родилась и выросла в тринадцатилетнюю долговязую строптивицу моя будущая мать Аурора, линии фронта уже были четко проведены.

– Слишком высокая для девочки, – прозвучал суровый приговор Эпифании, когда Аурора вошла в подростковый возраст. – Глаза беспокойные – черти в них пляшут. И грудь уже торчмя торчит – никакого приличия.

На что Белла вскинулась:

– Можно подумать, ваш разлюбезный Айриш радуется идеальным потомством! Скажите спасибо, что есть хоть одна юная да Гама, живая и здоровая, и не беда, что титьки-митьки большие. У братца Айриша и сестрицы Сахары зато тишь да гладь: ни титек, ни деток.

Жену Айриша звали Кармен, но Белла, подражая пристрастию деверя к выдумыванию прозвищ, окрестила ее именем пустыни, “потому что она плоская как доска, и на всей этой бесплодной равнине я не вижу ни одного местечка, где можно утолить жажду”.

Айриш да Гама, обильно смачивавший бриллиантином свои густые волнистые седые волосы (с давних пор ранняя седина была нашей семейной чертой; моя мать Аурора уже в двадцать лет ходила с волосами снежной белизны, и сколько же сказочного блеска, сколько льдистой *gravitas*⁸ прибавляли к ее красоте эти серебряные каскады!), – о, как он позировал, мой двоюродный дедушка! Помню, какой смешной у него был вид на маленьких, два на два дюйма, черно-белых фотографиях: монокль, жесткий крахмальный воротничок, костюм-тройка из великолепного габардина. В одной руке – трость с набалдашником из слоновой кости (*и со стилетом внутри*, – шепчет мне на ухо семейное предание), в другой – длинный мундштук; и я должен с сожалением отметить, что он носил гетры. Добавить бы сюда высокий рост да закрученные усы, и вышел бы законченный опереточный негодяй; но Айриш был таким же маломерком, как его брат, и чисто брил лицо, которое у него слегка лоснилось, так что его облик прожигателя жизни производил скорее жалкое, чем отталкивающее впечатление.

Здесь же, на другой странице фотоальбома памяти, – сутулая, слегка косоглазая двоюродная бабушка Сахара, “женщина без оазисов”, жующая бетель верблюжьими челюстями и выглядящая так, словно у нее вырос горб. Кармен да Гама была двоюродной сестрой Айриша, осиротевшей дочерью сестры Эпифании по имени Блимунда и владельца мелкой типографии, некоего Лобу. И мать, и отец Кармен умерли во время эпидемии малярии, шансы на замужество были у нее абсолютно ничтожные, – и вдруг Айриш, к изумлению своей матери, заявляет, что не прочь на ней жениться. Эпифания, мучась сомнениями, неделю не смыкала глаз, не в состоянии решить, что важнее: ее мечта подыскать Айришу приличную партию или настоятельная необходимость пристроить Кармен пока не поздно. В конце концов долг перед умершей сестрой перевесил заботу о счастье сына.

Кармен никогда не выглядела молодой, ни разу не забеременела, всеми правдами или неправдами мечтала присвоить наследную долю Камоинша и его ветви семейства и ни одной живой душе не обмолвилась о том, что в первую брачную ночь ее муж вошел в спальню поздно вечером, не удостоил даже взглядом лежащую в постели и охваченную девственным трепетом молодую костлявую невесту, с неторопливым тщанием разделся догола, затем столь же аккуратно облачился (будучи одного с ней роста) в ее подвенечное платье, которое, как символ их союза, служанка оставила красоваться на портновском манекене, и вышел наружу через дверь уборной. С воды до Кармен донесся свист, и, стоя у окна в простынном саване меж тем, как тяжкое предвидение будущего наваливалось ей на плечи и пригибало их книзу, она увидела мерцающее в лунном свете свадебное платье и молодого гребца, увлекающего и платье, и оде-

⁷ Марин-драйв – набережная в Бомбее.

⁸ Весомости (*лат.*).

того в него человека вдаль, навстречу тому, что у этих загадочных существ зовется наслаждением.

История костюмированной эскапады Айриша, оставившего мою двоюродную бабушку Сахару в холодных барханах не запятнанных кровью простынь, дошла до меня вопреки ее молчанию. Даже в обычных семьях секреты большей частью выходят наружу; а в нашем далеко не обычном клане многое из того, что хранилось в глубокой тайне, рано или поздно писалось маслом по холсту и вывешивалось на стенах галерей... но тогда, опять-таки, возможно, весь инцидент был выдумкой, семейной легендой, сочиненной, чтобы шокировать, но не слишком, чтобы сделать более приемлемым – то есть более экзотическим, более *красивым* – гомосексуализм Айриша? Ибо при том, что Аурора да Гама впоследствии изобразила эту сцену – на ее холсте мужчина в освещенном луной платье сидит очень прямо, глядя на блестящий от пота обнаженный торс гребца, – двойной портрет, несмотря на всю богемную репутацию художницы, вполне мог быть приукрашивающей жизнь фантазией, лишь в меру скандальной; и история эта, как она писалась красками и рассказывалась словами, может быть, имела единственной целью набросить на тайный порок Айриша изящную вуаль, скрыть член и задницу, кровь и сперму, боязливую решительность малорослого денди, выскивающего крепких телом партнеров в кишасем крысами порту, восторг и ужас покупных объятий, наслаждение на темных задворках и в бедных лачугах с плечистыми грузчиками, мускулистые ягодицы молодых велорикш и малокровные губы базарных мальчишек; ведь она, эта история, умалчивала о реальностях капризной, изобиловавшей ссорами и весьма далекой от верности *amour fou*⁹ – многолетней связи Айриша с ночным гребцом, которого он окрестил Принцем Генрихом-мореплавателем¹⁰... короче, она показала нам принаряженную истину, быстренько отошла ее за кулисы и стыдливо опустила глаза.

Нет, господа. Авторитет картины неоспорим. Что бы ни случилось потом между ними тремя – о странной близости на склоне лет между Принцем Генрихом и Кармен да Гамой будет рассказано в свой черед, – эпизод с подвенечным платьем лежит у истоков всего.

Нагота под присвоенным свадебным нарядом, лицо жениха под вуалью невесты – именно это соединяет мое сердце с памятью о моем чудаковатом двоюродном дедушке. Много в нем мне противно; но в этом царственно-женском образе, в котором многие у меня на родине (и не только на родине) способны увидеть только ущербность, я вижу и отвагу, и величие – да, величие.

– Но если это не член в заднице, – говорила о жизни с нелюбимым дядюшкой Айришем моя дорогая мама, унаследовавшая от своей матери бесстрашный язык, – то, милый мой, уж точно кость в горле.

Если мы хотим копать всерьез, если хотим добраться до корня всех наших семейных раздоров, преждевременных смертей, попорченных любовей, бешеных страстей, слабых грудей, соблазнов власти и денег, наконец, еще более нравственно сомнительных соблазнов и тайн искусства – не забудем же того, кто заварил всю кашу, кто первым покинул свою естественную среду и утонул, чья смерть в пучине выбила чеку колеса, краеугольный камень, положила начало постепенному упадку семьи, завершившемуся моим низвержением; не забудем Франсишку да Гаму, покойного супруга Эпифании.

Да, и Эпифания была когда-то невестой. Она происходила из старинного, но сильно обедневшего торгового клана Менезишей из Мангалуру. Эпифания дала немалую пищу зависти, когда после случайной встречи на свадьбе в Каликуте отхватила самый жирный кусок – вопреки всякой справедливости, рассуждали многие разочарованные мамы, ибо столь

⁹ Сумасбродной любви (*фр.*).

¹⁰ Известный под этим прозвищем португальский принц жил в XV веке.

богатому человеку следовало бы погнушаться тощими банковскими счетами, поддельными драгоценностями и дешевыми нарядами пришедшего в безнадежный упадок семейства этой маленькой авантюристки. В начале столетия на правах супруги моего прадеда Франсишку она появилась на острове Кабрал, который стал первой из четырех обособленных, змеиных, эдемско-преисподних частных вселенных той истории. (Салон моей матери на Малабар-хилле был второй из них; поднебесный сад отца – третьей; диковинная цитадель Васко Миранды, его “Малая Альгамбра” в испанском городке Бененхели, была, есть и останется в моем рассказе последней.) Там она увидела величественный старый дом в традиционном стиле с восхитительной вязью внутренних дворишков, с зацветшими водоемами и заросшими травой фонтанами, с резными деревянными круговыми галереями, с высокими потолками комнат, образующих настоящий лабиринт, с крутой черепичной крышей. Подлинный рай для богатого человека среди тропической растительности – именно то, что нужно, решила про себя Эпифания, ибо, хотя в девичестве ее жизнь была относительно скудной, она всегда считала, что имеет талант к роскошеству.

Однако в один прекрасный день, через несколько лет после рождения двоих сыновей, Франсишку да Гама привел в дом неприлично молодого и что-то слишком обходительного французика, некоего Шарля Жаннере, считавшего себя гением архитектуры, хотя ему едва сравнялось двадцать лет. Эпифания и глазом не успела моргнуть, как легковверный муженек подрядил нахального юнца на возведение даже не одного, а сразу двух новых домов в ее драгоценных садах. И что за безумные вышли строения! Одно – из каменных плит, странной угловатой формы, причем сад проникал в интерьер настолько прихотливо, что иной раз трудно было понять, снаружи или внутри ты находишься, а мебель, казалось, была предназначена для больницы или уроков геометрии, сядешь на что-нибудь – и непременно напорешься на острый угол; другое – картонный домик из дерева и бумаги, “в японском стиле”, объяснил архитектор охваченной ужасом Эпифании, чрезвычайно хрупкий и готовый вспыхнуть от малейшей искры, с раздвижными пергаментными ширмами вместо стен, где в комнатах можно было только стоять на коленях, потому что сидеть было не на чем, где спать следовало укладываться на расстеленные по полу тюфяки, подкладывая под головы деревянные чурки, *словно мы слуги какие-нибудь*, где все было настолько у всех на виду и на слуху, что, как заметила однажды Эпифания, “тут по крайней мере всегда знаешь, у кого из домашних болит живот, – стены-то в уборной из туалетной бумаги сделаны”.

Но это еще полбеда; куда хуже, что, когда оба сумасшедших дома были готовы, Франсишку частенько стало надоедать их роскошное старое жилище, и тогда он за завтраком хлопал рукой по столу и объявлял, что они едут “на Восток” или “на Запад”, после чего домочадцам ничего не оставалось, как перебираться со всем хозяйством и скарбом в один или другой архитектурный каприз француза, и никакие протесты не помогали. Прожив там несколько недель, они опять снимались с места.

Франсишку да Гама не только оказался неспособен жить, как все люди, оседлой жизнью; вдобавок, к ужасу Эпифании, он возомнил себя покровителем искусств. Орды пьющих ром и виски, потребляющих наркотики, возмутительно одетых личностей низкого пошиба начали совершать длительные набеги на оба французских дома, наводняя их режущей слух музыкой, поэтическими марафонами, обнаженными моделями, марихуанными окурками, картонной игрой на всю ночь и прочими проявлениями своего во всех отношениях нетрадиционного поведения. Наезжали заграничные художники и скульпторы, после которых оставались висеть странные конструкции, шевелящиеся от легкого ветерка и напоминающие огромные вешалки для одежды, да еще изображения женщин-дьяволиц с обоими глазами по одну сторону носа и гигантские холсты, где словно случилась какая-то беда с красками, и все это безобразие Эпифания должна была терпеть на стенах комнат и во двориках своего милого дома и каждый день на него любоваться, словно это невеста как красиво.

– От твоего художества-убожества, Франсишку, – сказала она мужу ядовито, – я скоро ослепну.

Но никакие яды на него не действовали.

– Старой красоты недостаточно, – заявил он. – Сколько можно строить, жить, верить по старинке? Мир сдвинулся с места, и теперь красота проявляет себя по-новому.

Франсишку обладал героическими задатками, был рожден для исканий и дерзаний и ладил с домашним укладом не лучше Дон Кихота. При дьявольской красоте он был адски даровит и на крикетных площадках, которые тогда покрывали волокном кокосовой пальмы, демонстрировал коварную крученую подачу слева и элегантный прием мяча. В колледже он был самым блестящим студентом-физиком на своем курсе, но рано осиротел и после многих размышлений решил пожертвовать научной карьерой, исполнить семейный долг и войти в бизнес. Возмужав, Франсишку в совершенстве овладел вековым искусством рода да Гама превращать пряности и орехи в золото. У него развилось тончайшее чутье на деньги, он мог повести носом и сказать, прибыль ожидается или убыток; но при этом он был еще и филантропом – давал деньги приютам для сирот, открывал бесплатные поликлиники, строил школы в деревнях по берегам лагун, финансировал исследования болезней кокосовой пальмы, защищал от истребления слонов, что водились в горах над его плантациями пряностей, и учредил ежегодный конкурс сказителей, приурочив его к Онаму – празднику урожая. Столь щедрым потоком изливалась его благотворительность, что Эпифания не раз ударялась в бесплодные причитания:

– Ты же так все по ветру пустишь, дети побираться пойдут! Что мы тогда кушать будем – *антропологию*?

Она билась с ним за каждую пядь и проиграла все битвы, кроме последней. Подлинный прогрессист, постоянно впярявший взор в будущее, Франсишку стал последователем сначала Бертрана Рассела (“Религия и наука” и “Вера свободного человека” – вот были две его безбожные Библии), затем – все более и более национально ориентированного Теософского общества, возглавляемого госпожой Анни Безант. Не нужно забывать, что Кочин, Траванкур, Майсур и Хайдарабад формально не входили в Британскую Индию – это были княжества со своими местными махараджами. Кочин, к примеру, по уровню образования и грамотности намного опережал районы, напрямую управлявшиеся британцами, однако, скажем, в Хайдарабаде существовало то, что Неру называл “абсолютным феодализмом”, а в Траванкуре даже Индийский национальный конгресс был объявлен вне закона; но не будем смешивать (Франсишку не смешивал) видимость и сущность; фиговый листок – он фиговый и есть. Когда Неру поднял в Майсуре национальный флаг, местные (индийские) власти, едва он покинул город, уничтожили не только флаг, но и флашток, лишь бы не прогневались истинные владыки... Вскоре после того, как в тридцать восьмой день рождения Франсишку началась Первая мировая война, что-то у него внутри сдвинулось.

– Британцы должны уйти, – торжественно провозгласил он за обедом, сидя под портретами чопорных предков.

– О господи, куда они уходят? – забеспокоилась Эпифания, не совсем верно его поняв. – Неужели в такое тяжелое время они бросят нас на произвол судьбы, на растерзание этому негодяю Вильгельму?

Тут Франсишку взорвался – двенадцатилетний Айриш и одиннадцатилетний Камоинш так и приросли к стульям.

– Нас уже бросили на растерзание! – грохотал он. – Налоги удвоены! Наши юноши гибнут в британских мундирах! Национальное богатство вывозится – люди голодают, а британским томми подавай нашу муку, рис, джут и кокосы. Меня принуждают сбывать товар дешевле себестоимости. Они опустошают наши недра – забирают селитру, слюду, марганец. Какого черта! Бомбейские богачи жируют, а народ нищенствует.

– Ты задурил себе голову учеными книжками! – возмутилась Эпифания. – Мы самые что ни на есть дети Империи. Британцы дали нам все, все – цивилизацию, закон, порядок, тебе мало? И пряности твои, которыми пропах весь дом, они покупают у тебя из милости, чтобы твои дети были сыты и одеты. Так зачем нести околесицу и пачкать детские уши безбожной клеветой и изменой?

После этого дня они мало что могли друг другу сказать. Айриш в пику отцу взял сторону матери; они с Эпифанией стояли за Англию, Бога, филистерство, традиции, тихую жизнь. Франсишку был весь – пыл и энергия, поэтому Айриш сделался подчеркнуто праздным и нарочно бесил отца своим ленивым роскошеством. (По иным причинам я в юности тоже отдал дань лени. Но это не было никому в пику – просто я тщетно пытался противопоставить мою медлительность ускоренному бегу Времени. Об этом тоже будет рассказано в надлежащем месте.) Зато Франсишку нашел союзника в младшем сыне, Камоинше – мальчик заразился от него идеями национальной независимости, разума, искусства, новизны и, что было в ту пору главным, – протеста. Франсишку разделял тогдашнее презрение Неру к Индийскому национальному конгрессу – “говорильне для местных”, – и Камоинш вдумчиво соглашался.

– Анни то, Ганди се, – дразнила сына Эпифания. – Неру, Тилак, вся эта банда с севера. Давай-давай, действуй! Плюй на родную мать! В тюрьму, видно, решил угодить.

В 1916 году Франсишку да Гама примкнул к кампании Анни Безант и Балгангадхара Тилака за самоуправление, присоединив свой голос к требованию учредить в Индии независимый парламент, который определил бы будущность страны. Когда госпожа Безант попросила его создать в Кочине Лигу самоуправления и у него хватило смелости включить в нее, наряду с местной буржуазией, портовых грузчиков, сборщиков чая, базарных кули и рабочих с его же собственных плантаций, Эпифания пришла в ужас.

– Массы и классы в одном клубе! Вот стыдоба-то! Этот человек лишился рассудка, – провозгласила она слабым голосом, обмахиваясь веером, после чего подавленно умолкла.

Через несколько дней после учреждения Лиги в припортовом районе Эрнаулама¹¹ произошли уличные столкновения; несколько десятков воинственно настроенных членов Лиги одолели маленькое легковооруженное воинское подразделение и рассеяли его, отобрав у солдат оружие. На следующий день Лига была официально запрещена, а за Франсишку да Гамой на остров Кабрал пришел моторный катер, и его взяли под арест.

В последующие полгода он то выходил из тюрьмы, то снова в нее попадал, чем снискал презрение старшего сына и непреходящее восхищение младшего. Да, герой, чего уж там. Эти периоды отсидки и бешеная политическая деятельность на свободе, когда, следуя указаниям Тилака, он во многих случаях сознательно навлекал на себя арест, принесли ему репутацию человека с будущим, того, к кому стоит присмотреться, за кем идут люди, – репутацию звезды.

Звезда может зайти за тучу; у героя может зайти ум за разум; Франсишку да Гама не исполнил своего предназначения.

В тюрьме у него нашлось время для работы, которая погубила его. Никому не удалось выяснить, где, на какой умственной свалке подобрал мой прадед Франсишку “научную” теорию, которая превратила его из потенциального героя в посмешище всей страны; так или иначе, в те годы она чем дальше, тем больше его занимала, постепенно оттесняя на второй план даже идею национальной независимости. Возможно, быллой интерес к теоретической физике соединился у него в голове с новыми увлечениями: теософией госпожи Безант, призывом Махатмы к единению населяющих Индию крайне разношерстных миллионов и характерными для индийских интеллектуалов-модернистов того времени поисками некоего внерелигиозного определения духовной жизни и такого стертого понятия, как душа; словом, в конце 1916 года

¹¹ Эрнаулам – город, фактически слившийся с Кочином.

Франсишку отпечатал частным образом статью, которую затем разослал всем ведущим научным журналам и которую назвал “К предварительной теории трансформационных полей сознания (ТПС)”. В ней он выдвинул гипотезу о существовании повсюду вокруг нас невидимых “динамических духовно-энергетических сетей, сходных с электромагнитными полями” и предположил, что эти “поля сознания” суть не что иное, как хранилище памяти людского рода – как практической, так и нравственной – и что они представляют собой, по сути дела, то самое, что Джойсовский Стивен¹² (в недавней публикации журнала “Эгоист”) желал выковать в кузнице своей души, – извечно сущее сознание человечества.

На низшем уровне своего воздействия ТПСы облегчают процесс познания: то, что где-либо кем-либо на Земле уже познано, становится тем самым легче познаваемо для любого другого человека в любом другом месте; но в статье также утверждалось, что на самом высоком уровне – разумеется, наиболее трудноуловимом – поля оказывают этическое воздействие, влияя на наш выбор и испытывая, в свой черед, его влияние, укрепляясь от всякого нравственного решения и, соответственно, слабая от всякого подлого деяния; поэтому в теории переизбыток дурных поступков может непоправимо нарушить структуру полей сознания, и “человечество тогда столкнется с ужасающей реальностью безнравственной (и, следовательно, бессмысленной) Вселенной вследствие разрыва этической ткани, своего рода страховочной сетки, которая всегда нас оберегала”.

Фактически в статье Франсишку хоть с какой-то долей убежденности говорилось лишь о низших, познавательных функциях полей, а об их нравственной роли упоминалось в порядке предположения и только в одном сравнительно коротком пассаже. Тем не менее на автора обрушилась мощная волна издевательств. Мадрасская газета “Хинду” в редакционной статье под заголовком “Громы и молнии добра и зла” высмеяла его жесточайшим образом: “Переживания господина да Гамы по поводу нашего нравственного будущего сродни страхам какого-нибудь безумного метеоролога, который уверовал, что наши поступки влияют на погоду и что если мы будем вести себя плохо, то нас ожидают непрерывные грозы и ураганы”. Автор сатирической колонки в “Бомбей кроникл” под псевдонимом “Кусака” (главный редактор газеты Хорниман, симпатизировавший госпоже Безант и национальному движению, настоятельно просил Франсишку воздержаться от публикации) ядовито вопрошал, относятся ли пресловутые поля сознания только к людскому роду или же прочие живые твари – скажем, тараканы, ядовитые змеи – также могут научиться извлекать из них пользу; а может быть, каждый биологический вид окутывает нашу планету своим собственным вихревым облаком? “Следует ли нам бояться искажения наших нравственных ценностей – назовем это *Гама-радиацией* – из-за случайных столкновений с чужими полями? Могут ли сексуальные обычаи богомола, эстетика бабуинов и горилл, скорпионья политика губительно влиять на наши разнесчастные души? Или – упаси, господи – *может быть, уже повлияли!*”

Эти-то “Гама-лучи” и добились Франсишку; он стал для всех посмешищем, разрядкой от жестокостей войны, экономических тягот и изнурительной борьбы за независимость. Поначалу он еще хорохорился и лихорадочно разрабатывал эксперименты для подтверждения своей первой, малой гипотезы. Он написал новую статью, где предложил в качестве основы для тестов взять “болы”, длинные цепочки бессмысленных слов, употребляемых учителями танца “катак” для обозначения движений ног, рук и головы. Одну такую цепочку (*там-там-таа друшай-тан-тан джи-джи-катай ту, таланг, така-тан-тан, тай! там тай!* – и так далее) можно было бы использовать наряду с контрольной группой из четырех подобных ей других бессмысленных звуковых цепочек, произносимых в том же ритме. Студенты-иностранцы, незнакомые с индийскими плясками, должны будут заучить все пять, и, если теория Франсишку верна, танцевальную белиберду запомнить окажется куда легче.

¹² Имеется в виду персонаж автобиографического романа Дж. Джойса “Портрет художника в юности”.

Эксперимент так и не был проведен. В скором времени Франсишку вывели из состава запрещенной Лиги самоуправления, и ее лидеры, в число которых теперь входил сам Мотилал Неру¹³, перестали отвечать на все более жалобные письма, которыми мой прадед их забрасывал. Богемные десанты перестали высаживаться на острове Кабрал, чтобы предаваться разгулу в одном или другом садовом домике, курить опиум на бумажном Востоке или пить виски на угловатом Западе; впрочем, время от времени, поскольку слава французика росла, Франсишку спрашивали, действительно ли он был первым индийским заказчиком молодого человека, который теперь называет себя Ле Корбюзье. На подобные вопросы поверженный герой сухо отвечал: “Первый раз о нем слышу”. Вскоре от него отстали.

Эпифания торжествовала. Франсишку все глубже погружался в уныние, уходил в себя, все сильнее кривил лицо и поджимал губы, как часто делают те, кто считает, что мир совершил по отношению к ним большую и совершенно незаслуженную несправедливость; и тут она нанесла быстрый, убийственный удар (убийственный в буквальном смысле, как выяснилось потом). Я пришел к заключению, что ее подавленное недовольство с течением лет переросло во мстительную ярость – ярость, вот мое истинное наследие! – которая порой доходила до подлинно смертельной ненависти; хотя спроси ее прямо, любит ли она мужа, она сочла бы такой вопрос возмутительным.

– Мы заключили этот брак по любви, – сказала она удрученному супругу в один из невыносимо долгих вечеров на острове: они двое плюс радио. – Ради чего же еще я терпела твои прихоти? Смотри, до чего они тебя довели. Теперь ради любви ты мою прихоть потерпи.

Ненавистные садовые домики были заперты. Отныне в ее присутствии запрещалось говорить о политике: мир потрясла российская революция, окончилась мировая война, с севера начали просачиваться слухи об амритсарской бойне¹⁴, положившей конец остаткам англофилии у индусов (лауреат Нобелевской премии Рабиндранат Тагор вернул королю присвоенный ему рыцарский титул), – а Эпифания да Гама на острове Кабрал, заткнув уши, оставалась до неприличия верна своим представлениям о всесильных и благодетельных британцах; старший сын Айриш был с ней заодно.

В 1921 году на Рождество восемнадцатилетний Камоинш робко привел в дом и представил родителям семнадцатилетнюю сироту Изабеллу Химену Соузу. (Эпифания спросила сына, где они познакомились, и тот, краснея, ответил, что в церкви Святого Франциска; тогда она с презрением, рожденным ее замечательной способностью забывать о своем собственном прошлом то, что помнить было невыгодно, бросила: “Какая-нибудь проныра!” Но Франсишку дал девушке свое благословение, протянув усталую руку в сторону “сказать по правде, не очень праздничного” стола, а затем погладив ее милую головку Изабеллы Соузы.) Будущая невеста Камоинша оказалась девушкой искренней и словоохотливой. С возбужденным блеском в глазах она нарушила пятилетнее табу Эпифании и завела восторженную речь о фактическом бойкоте в Калькутте визита принца Уэльского (будущего короля Эдуарда VIII) и больших демонстрациях протеста в Бомбее, стала расхваливать отца и сына Неру за отказ сотрудничать с судом, отправившим их обоих за решетку.

– Теперь-то вице-король поймет, что к чему, – сказала она. – Уж на что Мотилал любит Англию, но даже он предпочел сесть в тюрьму.

Франсишку встрепенулся, в его давно потухших глазах что-то затеплилось. Но Эпифания заговорила первая.

– В нашем богобоязненном христианском доме британское по-прежнему означает самое лучшее, маде-муазель, – оборвала она девушку. – Если вы имеете виды на нашего мальчика, думайте, что говорите. Вам темного или белого мяса? Угощайтесь на здоровье. Импортного

¹³ Мотилал Неру (1861–1931) – деятель индийского национально-освободительного движения, отец Джавахарлала Неру.

¹⁴ Амритсарская бойня 13 апреля 1919 г. – расстрел английскими войсками участников митинга в Амритсаре.

вина из Дао, холодненького? Сделайте одолжение. Пудинг-шмудинг? Отведайте непременно. Вот темы для рождественского стола, фроляйн. Начинку будете?

Потом, на пристани, Белла охотно делилась с Камоиншем своими впечатлениями и горько упрекала его за то, что он за нее не вступился.

– Твой дом словно туманом окутан, – сказала она жениху. – Там нечем дышать. Кое-кто напускает злые чары и сосет жизнь из тебя и твоего бедного папаша. Что касается брата, бог с ним, это безнадежный случай. Ругай меня, не ругай меня, но в доме все криком кричит, как твоя, кстати сказать, прости меня, совершенно безвкусная рубашка, что близится беда.

– Значит, ты больше не придешь? – безнадежно спросил Камоинш.

Белла шагнула в ожидающую ее лодку.

– Глупый мальчик, – сказала она. – Ты милый и трогательный мальчик. И ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что я сделаю и чего не сделаю ради любви, куда я приду и куда не приду, с кем я буду и с кем не буду бороться, чьи злые чары я разгоню моими собственными чарами.

В последующие месяцы именно Белла держала Камоинша в курсе мировых событий; она повторила ему слова из речи Неру на втором судебном процессе в мае 1922 года, когда ему дали новый срок: *Принуждение и террор стали главными инструментами властей. Неужели они думают, что таким образом заставят себя любить? Любовь и преданность идут из сердца. Их нельзя получить, угрожая людям штыками.*

– Похоже на отношения между твоими родителями, – улыбаясь, сказала Изабелла, и Камоиншу, в ком пламя борьбы за свободу от восхищения красивой и языкастой девушкой вспыхнуло с новой силой, хватило такта покраснеть.

У Беллы на его счет имелся план. В те дни у него ухудшился сон и началась астматическая одышка.

– Это все от плохого воздуха, – заявила она. – Да-да. Но хотя бы одного да Гаму я спасу.

Она перечислила ему новшества. Под ее водительством и к ярости Эпифании – “Ты что же думаешь, в моем доме перестанут цыплят готовить из-за твоей цыпы-дрипы, твоей вертихвостки – хочет, видите ли, чтобы мой сын питался как нищий” – он стал вегетарианцем и научился стоять на голове. Кроме того, он тайком выломал оконную раму, забрался в затканый паутиной “западный” домик, где пылилась отцовская библиотека, и принялся пожирать книги наперегонки с книжными червями. Аттар, Хайям, Тагор, Карлейль, Рескин, Уэллс, По, Шелли, Раммохан Рай.

– Вот видишь! – подбадривала его Белла. – Значит, можешь быть личностью, а не куклой в нелепой рубашке.

Но Франсишку они не спасли. Однажды ночью после сильных дождей он вошел в воду невдалеке от дома и поплыл; может быть, он хотел наконец вздохнуть полной грудью за околдованной береговой линией острова. Его подхватило возвратным течением; раздувшееся тело, обезображенное ударами о ржавый буй, обнаружили через пять дней. Франсишку должны были бы помнить как участника революционного движения, почитать за благотворительность, за приверженность прогрессу, за ум, наконец; но семья унаследовала от него лишь расстройство в делах (которые он в последние годы совершенно запустил), внезапность смерти и астму.

Эпифания встретила известие о его гибели совершенно спокойно. Пожрала его мертвого, как пожирала живого и стала только упитанней.

3

На площадку широкой крутой лестницы, что вела к спальне Эпифании, выходила дверь домашней церкви, которую Франшишку в былые дни, несмотря на отчаянные протесты жены, позволил одному из своих “французику” декорировать по-новому. Были вынесены прочь и золоченая запрестольная перегородка со вделанными в нее небольшими писанными маслом изображениями чудес Иисуса на фоне кокосовых пальм и чайных плантаций; и фарфоровые куколки-апостолы; и позолоченные херувимы на пьедесталах из тикового дерева, дующие в свои трубы; и свечи в стеклянных чашах, похожих на огромные коньячные рюмки; и покрывавшее престол привозное португальское кружево; и даже само распятие – словом, “вся красота”, жаловалась Эпифания, “Иисуса снесли в чулан, и Марию туда же”, но треклятому мальчишке этих святотатств, конечно же, было мало, и он замалевал все стены белой краской, как в больнице, поставил рядами самые неудобные скамьи, какие только нашлись в Кочине, а потом наклеил на стены этого внутреннего помещения без окон большие бумажные полотнища, раскрашенные наподобие витражей, “словно мы не можем, если захотим, сделать тут окна полюдски”, причитала Эпифания, “ты только посмотри, как убого это выглядит, бумажные окна в Божьем храме”, и если бы там еще путное что-нибудь было нарисовано, а то всего-навсего цветной узор, игра пятен, “как для детского праздника, – фыркала Эпифания. – Тут не кровь и тело нашего Спасителя вкушать, а разве что именинный пирог”.

Франшишку, защищая работу своего протеже, доказывал, что в ней он не просто поставил контур и цвет на место содержания, но и показал, что под умелой рукой они могут, по сути дела, *стать* содержанием; на что Эпифания сердито ответила:

– Так, может, нам уже и Христа никакого не надо, хватит крестика нарисованного? Зачем еще какое-то распятие? Да уж, на славу потрудился безбожный французик: Сыну Божьему и умирать за грехи наши теперь, выходит, не обязательно.

На другой день после похорон мужа Эпифания распорядилась все это сжечь и восстановила в правах херувимов, кружево и стекло, мягкие церковные сиденья, обитые темно-красным шелком, и подушечки им в тон с плетеной золотой тесьмой по краю, на каких женщине ее положения не стыдно преклонить колени перед Господом. Старые итальянские гобелены, изображающие порубленных на шашлык святых и брошенных в печи-тандуры мучеников, были вновь повешены на стены в обрамлении из обшитой рюшами и собранной в складки драпировочной ткани, и вскоре душемутительные воспоминания об аскетических новшествах французика полностью растворились в родной благочестивой затхлости.

– Жив Господь на небе, – заявила свежеиспеченная вдова. – Все на свете ладненько.

– Отныне, – определила Эпифания, – у нас пойдет простая жизнь. С тем плюгавым, в набедренной повязке, душу не спасешь.

Действительно, простота, которую она учредила, была отнюдь не гандийского толка, это была простота позднего пробуждения, подноса с горячим сладким чаем на столике у кровати, подзывания кухарки хлопками в ладоши для того, чтобы заказать ей блюда на весь день; простота появления горничной, которая умаскала и причесывала ее все еще длинные, но быстро седеющие и истончающиеся волосы, каждое утро получая выговор за то, что так много их остается на щетке; простота долгого утреннего ворчания на портного, приходившего к ней на дом с новыми платьями и становившегося на колени у ее ног с булавками во рту, которые он время от времени вынимал, чтобы дать волю своему льстивому языку; еще простота неспешных дневных посещений магазинов тканей, где ей на радость на застеленный белым полотном пол падали рулоны роскошного шелка, восхитительно разматываясь на лету и оседая нежными складчатыми холмами радужного великолепия; простота сплетничанья с немногими равными ей по положению, приглашений на “мероприятия” к англичанам в район форта, их воскрес-

ного крикета, чая с танцами, рождественского пения с их невзрачными, страдающими от жары детьми, ведь, что ни говори, они тоже христиане, пусть там и англиканская церковь, ничего, на ее уважение они могли рассчитывать, хотя на любовь – никогда, сердце ее, конечно же, принадлежало Португалии, мечтало о прогулках вдоль Тежу или Дору, о выходах на лиссабонские улицы под руку с грандом. Это была простота невесток, которые должны были исполнять любую ее прихоть при том, что их жизнь она превратила в ад, и простота сыновей, которые должны были обеспечивать постоянный приток денег в надлежащем количестве; простота установившегося порядка, когда она в конце концов обрела свое законное место в самом сердце паутины и могла, как ленивый дракон на куче золота, извергать, если сочтет нужным, очищающее и устрашающее пламя.

– Простота твоей мамы будет стоить целого состояния, – сказала мужу Белла да Гама (они с Камоиншем поженились в начале 1923 года), предвосхищая упрек, который потом часто раздавался в адрес М. К. Ганди. – И, если дать ей волю, эта простота будет стоить нам нашей молодости.

Сладкие грезы Эпифании нарушило вот что: Франсишку ничего ей не оставил, кроме ее гардероба, драгоценностей и небольшого содержания. В остальном, как она выяснила к своей ярости, она должна была зависеть от доброй воли сыновей, которые получали все имущество в равноправное владение на том условии, что торговая компания “Гама” останется единым целым, “если только деловые обстоятельства не продиктуют иное решение”, и что Айриш и Камоинш “будут стремиться вести дела в согласии и любви, не допуская, чтобы семейное достояние понесло ущерб из-за раздоров и столкновений”.

– Даже после смерти, – пожаловалась прабабушка Эпифания после оглашения завещания, – он бьет меня по обеим щекам.

Это тоже часть моего наследия: могила не улаживает ссор.

К великой досаде вдовы адвокаты семьи Менезишей не нашли к чему придраться. Она рыдала, рвала на себе волосы, колотила себя кулаками в щуплую грудь и душераздирающе громко скрежетала зубами; но адвокаты долбили свое: принцип наследования по материнской линии, которым были знамениты Кочин, Траванкур и Коллам и согласно которому право распоряжаться семейной собственностью могло бы принадлежать не покойному доктору да Гаме, а госпоже Эпифании, составляет часть индуистской традиции, и его никаким юридическим крючкотворством нельзя распространить на христианское население.

– Тогда тащите сюда шивский лингам и кувшинчик¹⁵, – сказала якобы Эпифания, хотя впоследствии она это отрицала. – Везите меня к реке Ганг, я мигом в нее прыгну. *Хай Рам!*

(Я должен заметить, что, на мой взгляд, утверждения о намерении Эпифании совершить молитву-пуджу и паломничество апокрифичны и неубедительны; но причитания, зубовой скрежет, вырывание волос и битье себя в грудь, несомненно, имели место.)

Сыновья покойного магната, надо признать, не уделяли бизнесу должного внимания – их сильно отвлекали мирские дела. Айриш да Гама, на которого самоубийство отца произвело большее впечатление, чем он показывал, искал утешения в неразборчивых связях, вызывая настоящий эпистолярный потоп, – полуграмотные письма писались на дешевой бумаге корявым неразборчивым почерком. Признания в любви, свидетельства страсти и гнева, угрозы совершить злодеяние, если возлюбленный будет упорствовать в своем предосудительном поведении. Автором этих мучительных посланий был не кто иной, как юный гребец той послесвадебной ночи, Принц Генрих-мореплаватель собственной персоной. *Не думай что я не знаю про твои дела. Дай мне сердце или я его у тебя вырежу. Если любовь не вся земля и все небо тогда она ничто, хуже чем грязь.*

¹⁵ *Лингам* – скульптурное изображение мужского детородного органа, связанное с культом Шивы. Распространен обряд, когда лингам поливают из кувшинчика водой или молоком.

Если любовь не все, тогда она ничто. Этот принцип и обратная его сторона (я имею в виду неверность) сталкиваются на протяжении всех лет моей судорожно дышащей истории.

После ночных походов, после гашиша или опиума Айриш мог проспать целый день до вечера, и нередко ему нужно было лечить мелкие ушибы и повреждения; Кармен, не говоря ни слова, втирала мази и накладывала компрессы, готовила ему горячие ванны, и когда в этой воде, вычерпанной, можно сказать, из бездонного колодца ее несчастья, он начинал громко храпеть, она, если и думала о том, что стоит чуть надавить ему на голову, и он захлебнется, – все же искушению не поддавалась. Вскоре ей предоставится другая возможность дать выход своей ярости.

Что касается Камоинша, то он пошел в своего деликатного, мягкого отца. Через Беллу он познакомился с группой молодых националистов-радикалов, которые, устав от разговоров о ненасилии и пассивном сопротивлении, были воодушевлены грандиозными событиями в России. Он стал посещать доклады, озаглавленные *Вперед!* или *Терроризм: оправдано ли средство целью?* – а потом и сам начал выступать в подобном роде.

– Кто бы мог подумать, раньше ты и муху обидеть не мог, – смеялась Белла. – А теперь ты у нас ужасный-опасный-красный русский революционер да Гамский.

Не кто иной, как дедушка Камоинш первым узнал про дублеров Ульянова. В конце 1923 года он сообщил Белле и друзьям, что привилегированная группа советских актеров получила исключительное право на исполнение роли В. И. Ленина, причем не только в специально подготовленных выездных представлениях, рассказывающих советским людям о славной революции, но и в тысячах и тысячах общественных мероприятий, на которых вождь по занятости не может присутствовать лично. Артисты заучивают наизусть, а затем произносят речи великого человека, и стоит кому-нибудь из них появиться на публике в полном гриме и костюме, как люди начинают ликовать и неистовствовать, словно они увидели настоящего живого Ленина.

– А теперь, – взволнованно закончил рассказ Камоинш, – принимаются заявления и от иностранных актеров. Мы можем иметь своих Лениных прямо здесь и на законном основании, говорящих на малаялам, тулу, каннада или на чем еще хотите.

– Значит, они там в Эс-Эс-Эс-Эр занимаются воспроизводством верховного босса, – сказала Белла, кладя его руку себе на живот. – Но Смотри-Смотри-Смотри, Родной, ты уже начал тут свое собственное маленькое воспроизводство.

Это ли не свидетельство нелепой – да! осмеливаюсь употребить это слово – *смехотворной и нелепой* ненормальности моей семьи, что в то время, когда страна и поистине вся планета были охвачены величайшими событиями, – когда семейный бизнес нуждался в самом пристальном внимании, поскольку смерть Франшишку обострила кризис руководства до предела, началось недовольство на плантациях, угрожающих размеров достигла халатность на двух эрнакуламских складах и даже самые верные партнеры компании “Гама” начали прислушиваться к пению сирен-конкурентов, – когда, в довершение всего, жена объявила ему, что носит в чреве ребенка, первенца, который окажется их единственным ребенком и, более того, единственным ребенком в семье в этом поколении, станет моей матерью Ауророй, последней из да Гама, – что в это время моего деда всецело захватила идея подставных Лениных? С каким рвением он рыскал по всей округе, выискивая людей с актерскими задатками и хорошей памятью, способных заинтересоваться его проектом! Как самозабвенно трудился, добывая тексты последних работ великого вождя, находя переводчиков, нанимая гримеров и костюмеров, проводя бесчисленные репетиции со своей маленькой труппой из семи человек, которых Белла со своей обычной хлесткостью окрестила *Ленин-высоковатый, Ленин-коротковатый, Ленин-толстоватый, Ленин-тонковатый, Ленин-хромоватый, Ленин-совсем-лысый* и (последний, бедолага, имел большие дефекты по стоматологической части) *Беззубый Ленин...* Камоинш вел лихорадочную переписку с инстанциями в Москве, убеждал, улещивал; подобным же образом убеждались и улещивались кочинские чиновники, как светло-, так и темнокожие; наконец,

в жаркий сезон 1924 года, его труды были вознаграждены. Когда Белла была уже на сносях, в Кочин явился настоящий, полноправный член специальной ленинской труппы, Ленин высшей категории, уполномоченный дать оценку и дальнейшие указания членам новосозданного кочинского филиала.

Он прибыл пароходом из Бомбея и, сходя на берег в костюме и гриме под судорожные вздохи и радостные возгласы людей на пристани, приветствовал встречающих поклонами и взмахами руки. Камоинш заметил, что он сильно потеет от жары; по его шее и лбу сбегали ручейки черной краски для волос, которую ему постоянно приходилось вытирать.

– Как к вам обращаться? – вежливо краснея, спросил Камоинш при встрече гостя, который путешествовал с переводчиком.

– Без церемоний, товарищ, – ответил переводчик. – Никаких титулов! Просто Владимир Ильич.

Встречать вождя мирового пролетариата на пристани собралась порядочная толпа, и теперь Камоинш, открывая подготовленный заранее маленький спектакль, хлопнул в ладоши, и из зала ожидания вышли семь местных Лениных – все, как положено, с бородками. Выстроившись перед советским коллегой, они переминались с ноги на ногу и радушно ему улыбались; он в ответ разразился длинной тирадой на русском языке.

– Владимир Ильич спрашивает, как понимать это безобразие, – объяснил переводчик Камоиншу (толпа меж тем прибывала). – У них у всех темная кожа и вообще совершенно не тот вид. Этот высоковат, этот коротковат, этот толстоват, этот тонковат, этот хромоват, этот совсем лыс, а вон у того зубов нет.

– Мне было сообщено, – промямлил Камоинш упавшим голосом, – что допускается приспособить облик вождя к местным условиям.

Новый русскоязычный залп.

– Владимир Ильич считает, что это не приспособление, а пошлая карикатура, – сказал переводчик. – Оскорбительный выпад. Возмутительно! По меньшей мере у двоих перекошились бороды – на глазах у всей пролетарской массы! Будет доложено наверх. Не продолжать ни под каким видом!

У Камоинша вытянулось лицо; и тут, увидев, что он вот-вот расплачется, что все его планы рушатся, актеры – его кадры – взяли инициативу на себя; желая продемонстрировать, как хорошо у них отрепетированы роли, они встали в позы и начали декламировать. На малайялам, каннада, тулу, конкани, тамильском, телугу и английском они восславили революцию и потребовали немедленного изгнания кровососов-империалистов, свержения колониалистов и их наймитов, обобществления собственности, что должно было привести к перевыполнению планов по рису; пальцем протянутой правой руки каждый из них указывал в светлое будущее, мощно сжимая опущенную левую в кулак. Бороды из-за жары начали отклеиваться, по-вавилонски многоязычную речь уже слушала огромная толпа, в которой зародился, мало-помалу разросся и наконец неудержимо грянул издевательский хохот.

Владимир Ильич побагровел. Революционная брань изверглась у него изо рта и цепочкой кириллицы повисла в воздухе над его головой. Затем, повернувшись на сто восемьдесят градусов, он прошествовал назад по сходням и скрылся под палубой.

– Что он сказал? – спросил русского переводчика несчастный Камоинш.

– Страна ваша... – ответил тот. – Владимир Ильич со всей прямоотой заявил, что он ее не переваривает.

Сквозь влажную пелену своей беды Камоинш увидел маленькую женщину, которая проталкивалась к нему в гуще гогочущих масс; это была горничная его жены Мария.

– Вы бы шли поскорей домой, господин, – пробился ее голос сквозь стену пролетарского смеха. – Ваша супруга вам подарила дочь!

После унижения в порту Камоинш отвернулся от коммунизма и стал повторять, что, как он убедился на горьком опыте, это учение не отвечает индийским условиям. Он сделался “конгрессвала”, сторонником Неру, и, держась на расстоянии, прошел вместе с движением его великий путь последовавших лет – на расстоянии в том смысле, что, хотя каждый день, жертвуя всем прочим, он посвящал делу независимости много часов, хотя без конца читал, говорил и писал на эту тему, при всем том он не принимал больше активного участия в событиях и не опубликовал ни строчки своих пламенных сочинений. . . Остановимся же на миг и задумаемся о моем деде с материнской стороны. Легче всего отмахнуться от него, обвинив в несерьезности, назвав мотыльком, дилетантом. Заигрывающий с марксизмом миллионер, робкая душонка, ниспровергатель, который мог гореть революционным огнем лишь в компании немногих друзей или в тиши собственного кабинета, за тайными писаниями, которых – видимо, боясь насмешек, подобных тем, что доконали Франсишку, – он так и не решился опубликовать; индийский патриот, чьи любимые поэты были сплошь англичане, атеист и рационалист, который мог внушить себе веру в призраков, человек, который мог от начала до конца с глубоким чувством произнести наизусть марвелловскую¹⁶ “Каплю росы”:

Вот так, Душа, ты проблеском Луча,
Святою каплей вечного Ключа
Из человеческого светишься цветка —
Тебе отрады нет
В телесности листа и лепестка,
Ты свой лелеешь Свет,
Являя скромным ясным ликом
Большое Небо в Небе невеликом.

Эпифания, чрезвычайно суровая и лишенная всякой снисходительности мать, раз и навсегда записала его в разряд дурачков, но я под влиянием более нежного отношения к нему Беллы и Ауроры дам иную оценку. Для меня в самой двойственности дедушки Камоинша заключена красота его души; эта готовность допустить сосуществование в самом себе противоречивых побуждений есть признак полноценной, изысканной человечности. Если бы вы, скажем, указали ему на несоответствие между его эгалитаристскими идеями и реальностями его олимпийского общественного положения, в ответ он бы только виновато улыбнулся и обезоруживающе пожал плечами. “Все должны жить хорошо, правда ведь? – часто повторял он. – Остров Кабрал для каждого, вот мой девиз”. И в его страстной любви к английской литературе, в его дружбе со многими английскими семьями Кочина наряду со столь же страстной убежденностью, что британскому правлению и княжеской власти должен быть положен конец, мне видится эта доброта, отделяющая грех от грешника, это историческое великодушие, которое поистине составляет одно из чудес Индии. Когда солнце империи закатилось, мы не кинулись убивать наших бывших хозяев, нет, мы обратили оружие друг на друга. . . но столь горькая мысль никогда бы не зародилась в голове Камоинша, который отшатывался от всякого зла, от “бесчеловечности”, как он выражался, за что даже любящая Белла упрекала его в наивности; и, к счастью или к несчастью для себя, он не дожид до пенджабской резни времен раздела страны. (Увы, он не дожид и до того, как после объявления независимости и объединения Кочина, Траванкура и Коллама в новый штат Керала там было избрано первое марксистское правительство на субконтиненте, – вот была бы ему награда за все несбывшиеся надежды!)

Впрочем, и он хлебнул немало смуты: семья полным ходом шла к катастрофическому конфликту, к так называемой “войне свойственников”, которая смела бы с лица земли любой

¹⁶ Эндрю Марвелл (1621–1678) – английский поэт.

не столь крупный дом и последствия которой для семейного благосостояния чувствовались на протяжении десяти лет.

Женщины теперь выдвигаются в центр моей маленькой сцены. Эпифания, Кармен, Белла и маленькая Аурора – они, а не мужчины, были конфликтующими сторонами; главной же возмутительницей спокойствия стала, конечно же, прабабушка Эпифания.

Она объявила войну в тот же день, как услышала завещание Франсишку; Кармен тогда была вызвана в ее спальню на военный совет.

– Мои сыновья – никчемные шалопаи, – заявила она, обмахиваясь веером. – Отныне мы, дамы, будем играть первую скрипку.

Себя она произвела в главнокомандующие, а Кармен, свою племянницу и одновременно невестку, сделала доверенным лицом и порученцем.

– Это ваш долг не только перед нашим домом, но и перед Менезишами. Не забывайте, что, если бы я над вами не сжалась, вы сидели бы плесневели тут до второго пришествия.

Первым поручением Эпифании было то, о чем издревле пекутся монархи: Кармен должна зачать ребенка мужского пола, наследного принца, от имени которого будут править королевством любящие мать и бабка. Кармен, сознавая в горьком своем сокрушении, что уже этот приказ останется неисполненным, потупив глаза, пролепетала: “Конечно, тетушка Эпифания, ваша воля для меня закон”, – и выбежала из комнаты.

(После рождения Ауроры врачи сказали, что по медицинским причинам Белла не сможет зачать снова. Вечером этого дня Эпифания, вызвав Кармен и Айриша, сделала им внушение:

– Поглядите-ка на эту Беллу – уже разродилась! Но девочка и никого в будущем – это вам от Бога подарок. Так живет! Раз-два, и сделали мальчика, а не то все барахло ей достанется. И хоромы эти.)

В день, когда Ауроре да Гаме исполнилось десять лет, к острову Кабрал подошла баржа, а в ней сидел человек с севера, из Соединенных Провинций, с большой кучей деревяшек, из которых он собрал подобие огромной мельницы с сиденьем на каждом из четырех концов деревянного перекрестья. Из футляра, обитого внутри зеленым бархатом, он вынул аккордеон и заиграл веселое ярмарочное попури. Когда Аурора и ее подружки, вдоволь накружившись в поднебесье, слезли с *чарак-чу*, как называл это сооружение аккордеонист, он накинул алый плащ и принялся выманивать живых рыбок у девочек изо ртов и выдергивать настоящих змей у них из-под юбок, к немалому ужасу Эпифании, брюзгливому недовольству бездетных Кармен с Айришем и детскому восторгу Беллы и Камоинша. После этих чудес Аурора поняла, что в жизни ей нужней всего персональный маг, умеющий исполнить любое ее желание, способный на веки вечные перенести бабку за тридевять земель, напустить злых кобр на дядюшку Айриша и тетушку Кармен и заколдовать ее родителям довольство и счастье, ибо это была пора разделенного дома с проведенными мелом по полу разграничительными линиями и баррикадами из мешков со специями во дворах, словно для защиты от наводнения или снайперского огня.

Все началось, когда Эпифания, воспользовавшись тем, что сыновья обращали мало внимания на домашние дела, пригласила в Кочин свою родню. Момент для удара был выбран ею безошибочно: Айриш, потрясенный смертью отца, предавался разврату, Камоинш выискивал своих Лениных, Белла носила ребенка – так что протестовать, по существу, было некому. Громче всех, надо сказать, возражала Кармен, которую никогда не жаловали родственники со стороны матери и в которой при появлении столь многочисленных Менезишей разыгралась кровь Лобу. Когда она, запинаясь, со многими околичностями поведала о своих чувствах Эпифании, та ответила рассчитанно-грубо:

– Милочка, все ваше будущее – вон оно где, у вас промеж ног, и забота у вас должна быть одна – заинтересовать мужа, а во взрослые дела попросу не лезть.

Торопясь, как мухи на мед, первые Менезиши-мужчины прибыли из Мангалуру морским путем; их женщины и дети отстали ненамного. Другие Менезиши воспользовались автобусами, самые же последние, по слухам, добирались поездом, но задержались в пути из-за капризов железнодорожного сообщения. Пока Белла оправлялась от родов, а Камоинш – от ленинского фиаско, люди Эпифании проникли всюду: они оплели торговую компанию “Гама”, словно перечные лианы кокосовую пальму, принялись всячески досаждать управляющим плантациями, совать нос в бухгалтерию, вмешиваться в перевозки и складирование – словом, настоящее вторжение; но завоевателей редко любят, и не успела Эпифания утвердить свою власть, как начала делать ошибки. Первый ее промах был связан с избытком макиавеллизма: хотя ее любимым сыном был Айриш, она не могла отрицать, что единственная пока наследница родилась у Камоинша, и поэтому, рассудила Эпифания, нельзя полностью исключать его из расчетов. Она стала неуклюже заигрывать с Беллой, которая не ответила взаимностью, все больше злясь из-за настырности бесчисленных Менезишей; между тем эти чересчур очевидные маневры серьезно осложнили отношения с Кармен. Тут Эпифания допустила еще большую ошибку: ссылаясь на свою прогрессирующую аллергию к специям, служившим основой семейного благосостояния – да, и к перцу, главным образом к нему! – она заявила, что в недалеком будущем торговая компания “Гама” переключится на духи, “поэтому скоро вместо всего этого добра, от которого моя носоглотка с ума сходит, у нас в доме будут хорошие запахи”. Кармен взбунтовалась.

– Менезиши всегда были мелкой сошкой, – горько жаловалась она Айришу. – Неужели ты позволишь твоей матери свести большой бизнес к пахучим склянкам?

Но Айриш да Гама, обессиленный излишествами, пребывал в такой апатии, какую Кармен не могла развеять никакими упреками.

– Если ты не можешь занять свое законное место в этом доме, – крикнула она, – позволь хотя бы, чтобы нам помогали люди из семьи Лобу, а не эти Менезиши, которые заползли, как белые муравьи, во все щели и жрут наши деньги!

Мой двоюродный дедушка Айриш с готовностью согласился. Белла, которая была возмущена не меньше Кармен, ничего толком не смогла добиться (да у нее и не было родни); Камоинш по натуре не был бойцом и поэтому рассудил, что, раз у него голова не приспособлена к бизнесу, нечего ему вставлять матери палки в колеса. Но тут появились Лобу.

Что началось с духоб, кончилось поистине вселенской вонью... нечто порой выплескивается из нас наружу, нечто, живущее в нас и до поры затаенное, потребляющее наш воздух и нашу пищу, глядящее из глубины наших глаз, и когда оно вступает в игру, никто не остается в стороне; одержимые, мы бешено кидаемся друг на друга, нечто тьмой заливают нам глаза и вкладывает в руки настоящее оружие – мое нечто на твое нечто, соседское нечто на соседское нечто, нечто-брат на нечто-брата, нечто-дитя на нечто-дитя. По сигналу от Кармен ее родичи Лобу двинулись на угоды семьи да Гама в Пряных горах, и тут-то все и началось.

Ведущая в Пряные горы ухабистая и каменистая грунтовая дорога сначала идет мимо рисовых полей, банановых деревьев и ковром выложенных вдоль обочины для просушки зеленых и красных стручков перца; затем вдоль плантаций кешью и ареки (Коллам можно было бы переименовать в Кешьютаун, как Коттаям – в Каучуквилль); затем выше, выше, к царствам кардамона и тмина, к тенистым рощам молодых кофейных деревьев в цвету, к чайным террасам, похожим на гигантские зеленые черепичные крыши; и наконец мы попадаем в империю малабарского перца. Ранним утром заливаются соловьи, рабочие слоны идут не спеша, мимоходом подкрепляясь зеленью, и в небе кружит орел. Проезжают велосипедисты, четверо в ряд, положив руки друг другу на плечи, не уступая дорогу грохочущим грузовикам. Смотрите: один положил сзади ногу приятелю на седло. Чем не идиллия? Но считанные дни прошли после появления Лобу, и поползли слухи, что в горах неладно: Лобу и Менезиши схватились в борьбе за власть, начались споры и потасовки.

Что касается дома на острове Кабрал, там уже яблоку негде было упасть: Лобу блокировали лестницы, Менезиши оккупировали уборные. Лобу яростно сопротивлялись, когда Менезиши пытались подниматься по “их” лестницам, зато Менезиши установили такую жесткую монополию в местах общего пользования, что людям Кармен приходилось удовлетворять естественные надобности на открытом воздухе, на глазах у обитателей близлежащего острова Вайпин с его рыбацкими дереvушками и руинами португальской крепости (“О-у, аа-аа”, – распевали гребущие мимо острова Кабрал рыбаки, и женщины из семейства Лобу густо краснели и, толкаясь, бежали в прибрежные кусты), а также рабочих недалней фабрики по выделке полоvиков из кокосового волокна на острове Гунду и упадочных князьков, совершающих морские прогулки на катерах. Немало пинков и тычков было роздано в очередях, выстраивавшихся перед каждой трапезой, немало бранных слов прозвучало во дворах под безучастным взором резных деревянных грифонов.

Начали вспыхивать яростные драки. Чтобы справиться с людским потоком, открыли два построенных Корбюзье павильона, но свойственникам они не пришлись по сердцу; деликатный вопрос о том, какому семейству принадлежит привилегия ночевать в главном доме, зачастую решался кулаками. Женщины Лобу стали дергать женщин из враждебного клана за косы, в ответ дети Менезишей принялись отнимать у детей Лобу игрушки и портить их. Слуги семьи да Гама жаловались на высокомерие свойственников, на их ругань и прочие унижения.

Приближалась развязка. Однажды ночью во дворе дома на острове Кабрал две группы враждующих между собой подростков пошли стенка на стенку; не обошлось без сломанных рук, черепно-мозговых травм и ножевых ранений – два из них оказались серьезными. Во время побоища бумажные стены “восточного” павильона Корбюзье в японском стиле были прорваны, а его деревянным конструкциям был нанесен такой ущерб, что строение вскоре пришлось снести; юнцы ворвались и в “западный” павильон, где перепортили много мебели и книг. В эту ночь бесчинств Белла разбудила Камоинша, толкнув его в плечо, и сказала:

– Ну сделай же что-нибудь, а то все пойдет прахом.

Тут ей в лицо шлепнулся летающий таракан, и она вскрикнула. Этот крик привел Камоинша в чувство. Он выскочил из постели и убил таракана скатанной в трубку газетой, но когда пошел закрывать окно, с дуновением ветра до него долетел запах, сказавший ему, что настоящая беда уже пришла – дух горящих приправ, в котором нельзя было ошибиться: тмин, кориандр, куркума, красный и черный зернистый перец, красный и зеленый стручковый перец, немного чесноку, немного имбиря, несколько палочек корицы. Словно какой-то горный великан готовил на чудовищной сковороде карри неслыханной остроты.

– Мы больше не можем так жить, все вместе, – сказал Камоинш. – Белла, мы сжигаем сами себя.

Да, вселенская вонь покатилась с Пряных гор к морю, *свойственники да Гама жгут плантации пряностей*, и в ту ночь, когда Кармен, урожденная Лобу, на глазах у Беллы впервые в жизни схлестнулась со своей свекровью Эпифанией, урожденной Менезиш, когда Белла увидела их обеих в ночных рубашках, со спутанными волосами, ведьмоподобных, изрыгающих проклятия и обвиняющих друг друга в случившемся на плантациях, – тогда она с величайшей аккуратностью положила маленькую Аурору обратно в кроватку, наполнила таз холодной водой, спустилась с ним в освещенный луной двор, где Эпифания с Кармен и не думали утихомириваться, тщательно примерилась и окатила их с головы до ног.

– Вы с вашими происками запалили этот поганый пожар, – сказала она, – с вас и начнем его тушить.

Скандал принял огромные масштабы, и семья сполна хлебнула позора. Злокозненное пламя привлекло к себе внимание не только пожарных. Остров Кабрал посетила полиция, за ней – военные, и братья да Гама, в наручниках и под вооруженным конвоем, были препровождены не прямо в тюрьму, но сначала в красивый дворец Болгатти на одноименном острове,

где в прохладной комнате с высоким потолком их под ружейными дулами заставили встать на колени, а одетый в кремовый мундир лысеющий англичанин с моржовыми усами и в пенсне с толстыми стеклами смотрел в окно на кочинскую гавань и говорил словно бы с самим собой, непринужденно сцепив за спиной руки.

– Никто, даже центральное правительство, не знает всего об управлении Империей. Год за годом Англия посылает свежие подкрепления на передовую линию, которая официально именуется индийской гражданской службой. Люди гибнут, гробят себя непосильной работой, не выдерживают груза волнений и забот, теряют здоровье и вкус к жизни ради того, чтобы на этой земле было меньше болезней и смерти, голода и войны, и чтобы когда-нибудь в будущем она смогла жить сама. Она никогда не сможет жить сама, но идея выглядит привлекательно, люди готовы за нее умирать, и так это тянется год за годом: пинками и уговорами, кнутом и пряником страну пытаются вывести к достойному существованию. Добились успеха – хвалят местных, а англичанин стоит себе сзади и утирает пот со лба. Случилась неудача – англичанин выходит вперед и берет на себя всю вину. Вот из-за этой-то неоправданной снисходительности многие местные твердо уверовали, что они могут править страной сами, и многие добропорядочные англичане разделяют их веру, потому что эта теория изложена на прекрасном английском и украшена новейшими политическими виньетками.

– Сэр, вы можете не сомневаться в моей личной благодарности... – начал Айриш, но солдат-сипай из местных, из малаяли, ударом по лицу заставил его замолчать.

– Мы будем править страной, что бы вы ни говорили! – дерзко выкрикнул Камоинш. И тоже получил по лицу: раз, другой, третий. Из рта у него потекла струйка крови.

– А есть личности, которые хотят править страной по-своему, – продолжал человек у окна, по-прежнему обращаясь в сторону гавани. – Так сказать, под соусом из красного перца. Среди трехсот миллионов человек такие люди встречаются неизбежно, и если им попустительствовать, они могут натворить бед и даже погубить великана по имени *Pax Britannica*¹⁷, который, согласно газетам, обитает где-то между Пешаваром и мысом Коморин¹⁸.

Англичанин повернулся к ним лицом, и, конечно же, они его хорошо знали: это был начитанный человек, с которым Камоинш любил обсуждать взгляды Вордсворта на французскую революцию, кольриджевского “Кубла Хана” и ранние, почти шизофренические рассказы Киплинга о борьбе, которую ведут внутри него индийское и английское начала; человек, с дочерьми которого Айриш танцевал в Малабар-клубе на острове Уиллингдон; человек, которого Эпифания принимала у себя дома и у которого теперь, однако же, был странный отсутствующий взгляд. Он сказал:

– Как представитель британского правительства, да и просто как англичанин, я не склонен в данном случае брать вину на себя. Ваши кланы виновны в поджоге, мятеже, убийствах и нарушении общественного порядка с тяжкими последствиями, и следовательно, по моему убеждению, виновны и вы лично, хоть сами вы и не принимали непосредственного участия. Мы – этим местоимением, как вы, несомненно, понимаете, я обозначаю ваши же местные органы правопорядка – мы позаботимся о том, чтобы вы понесли наказание. Много лет вам предстоит провести в разлуке с семьями.

В июне 1925 года братья да Гама были приговорены к пятнадцати годам тюрьмы. Необычайная суровость суда вызвала предположения о том, что семья поплатилась за причастность Франшишку к движению за самоуправление или даже за опереточные попытки Камоинша импортировать российскую революцию; однако большинство сочло подобные предположения неправомерными и даже оскорбительными для властей в свете жутких открытий, сделанных

¹⁷ Мир по-британски (*лат.*).

¹⁸ Слова англичанина в основном заимствованы из рассказа Р. Киплинга “В городской стене”.

на плантациях торговой компании “Гама” в Пряных горах и неоспоримо свидетельствовавших о том, что бандиты из числа Менезишей и Лобу распоясались вконец. В обугленных зарослях кешью нашли трупы управляющего (Лобу), его жены и дочерей, привязанных к деревьям колючей проволокой, – они сгорели, как еретики. А среди останков некогда плодоносной кардамонной рощи на еще дымящихся стволах были обнаружены тела троих братьев-Менезишей. Руки их были раскинуты, и в каждой из шести ладоней торчало по железному гвоздю.

Я говорю об этих находках так прямо именно потому, что из-за них меня сотрясает дрожь стыда.

В истории моей семьи было немало мрачных страниц. Что же это за семья все-таки? Описанное здесь – *нормально*? Неужели мы все таковы?

Да, таковы; не всегда, но в потенции. Такое тоже в нас есть.

Пятнадцать лет: Эпифания лишилась чувств в зале суда, Кармен плакала, но Белла сидела с сухими глазами и неподвижным лицом, и столь же тиха и серьезна была Аурора у нее на коленях. Многие мужчины и некоторые женщины из Менезишей и Лобу были осуждены и отправлены за решетку; остальные рассеялись, стушевались, вернулись, меченные пеплом, в Мангалуру. Без них в доме на острове Кабрал стало очень тихо, но стоило поднести руку к стене, ковру, шкафу, как проскакивала искра – столько враждебной энергии в них накопилось; иные места в доме были так сильно наэлектризованы, что там волосы у человека вставали дыбом. Медленно, медленно остывала в старых стенах память о злобной сволочи, они будто страшились нового всплеска бесчинств. Но мало-помалу все успокоилось, мир и тишина начали потихоньку снова воцаряться в доме.

У Беллы были свои представления о том, как вернуться в лоно цивилизации, и она не тратила времени зря. Спустя десять дней после вынесенного Айришу и Камоиншу приговора власти, словно спохватившись, распорядились об аресте Эпифании и Кармен, но еще через неделю их столь же неожиданно выпустили на свободу. В течение этих семи дней, заручившись письменным согласием Камоинша (как заключенный категории “А”, он имел право получать из дома пищу, письменные принадлежности, книги, газеты, мыло, полотенца, чистое белье и мог отсылать обратно грязное белье и письма), Белла встретила с юристами торговой компании “Гама”, которые на правах опекунов следили за исполнением завещания Франсишку да Гамы, и заявила о необходимости немедленного раздела фирмы на две части.

– Условия, оговоренные в завещании, без сомнения, выполнены, – сказала она. – Повсюду по милости людей Айриша пошли раздоры и столкновения – неважно, прямо он в этом виноват или косвенно; поэтому деловые обстоятельства ясно говорят о невозможности сохранить целостность компании. Если компания “Гама” будет по-прежнему единой, дурная слава ее погубит. Разделимся, и тогда, может быть, зло останется только в одной половине. Что лучше – умирать вместе или выживать порознь?

Пока юристы прорабатывали предложение о разделе семейного бизнеса, Белла, вернувшись на остров Кабрал, разделила на две части сам величественный старый дом от подвала до чердака; такой же процедуре подверглись постельное белье, столовые приборы и посуда вплоть до последней вилки, ложки и наволочки. Держа на руках годовалую Аурору, она раздавала приказания домашней челяди; шкафы, комоды, пуфы, плетеные кресла с длинными подлокотниками, бамбуковые каркасы для москитных сеток, летние легкие кровати для тех, кто любит в жару спать на открытом воздухе, плевательницы, стульчаки, гамаки, рюмки – все пришло в движение, и даже сидевшие на стенах ящерицы были изловлены и распределены поровну между той и другой половиной. Изучив ветхий план строения и скрупулезно соблюдая справедливость в отношении общей площади и количества окон и балконов, Белла рассекла дом со всей его обстановкой, сады и дворы точно пополам. Вдоль границ были выставлены мешки со специями, а где этого нельзя было сделать – например, на главной лестнице, – она

провела белые демаркационные линии и потребовала, чтобы каждый из домашних неукоснительно держался своей территории.

В кухне она поделила все горшки и сковородки, а затем повесила на стену расписание, разбивавшее на части каждый из дней недели. Из слуг она взяла себе ровно половину, и хотя почти все просились под ее начало, постаралась ни на йоту не погрешить против справедливости: горничная к ним – горничная к нам, поваренок туда – поваренок сюда, по эту сторону рубежа.

– Что касается церкви, – заявила она ошарашенным Эпифании и Кармен, когда те, вернувшись, оказались перед *fait accompli*¹⁹ – разгороженной вселенной, – и слоновьих зубов вкупе со слоноподобными богами, забирайте это себе. Мы на нашей половине не собираемся ни молиться, ни коллекционировать слонов.

Ни Эпифания, ни Кармен после случившегося не нашли в себе сил противостоять яростному напору Беллы.

– Вы навлекли на семью адское пламя, – сказала она им. – И я больше не желаю смотреть на ваше поганое барахло. Держитесь своих пятидесяти процентов! Разбирайтесь сами со своей прислугой, пропадайте пропадом, продавайте все как есть – мне-то что! У меня теперь одна забота – чтобы наша с Камоиншем половина процветала и богатела.

– Вы явились ниоткуда, – чихая, ответила Эпифания из-за мешков с кардамоном, – и туда же, милочка моя, вернетесь, – но ее слова прозвучали неубедительно, и ни она, ни Кармен не воспротивились, когда Белла заявила, что выгоревшие плантации входят не в ее, а в их пятьдесят процентов; Айриш да Гама, как видно из его письма, махнул на все рукой: “Да катись оно к черту! Располосуйте всю проклятую дребедень, почему нет?”

Итак, Белла да Гама, двадцати одного года, взяла в свои руки управление собственностью посаженного в тюрьму мужа и, несмотря на многие превратности последующих лет, прекрасно с этим справилась. После осуждения Камоинша и Айриша земельные угодья и склады компании “Гама” были помещены под общественную опеку: пока юристы занимались разделом, Пряные горы стали патрулироваться вооруженными сипаями, а в креслах высшего руководства компании засели государственные чиновники. Лишь спустя месяцы уговоров, лести, взяток и флирта Белла смогла получить бизнес обратно. К тому времени многие клиенты, напуганные скандалом, переметнулись к другим фирмам; другие, узнав, что делами теперь заправляет “эта девчонка”, потребовали таких изменений в условиях, что финансы компании, и без того не бог весть какие прочные, затрещали по всем швам. Ей много раз предлагали продать дело за десятую или, в лучшем случае, восьмую часть истинной стоимости. Она ничего не продала. Она стала надевать мужские брюки, белые хлопчатобумажные рубашки и мужнину кремовую шляпу с полями. Она побывала на каждом своем поле, в каждой ореховой роще, на каждой плантации, где постаралась успокоить рабочих, напуганных до смерти и готовых бежать куда глаза глядят. Она подыскала управляющих, которым могла доверять сама и к которым рабочие относились с уважением, но без страха. Она очаровала банкиров, и те ссудили ей деньги; она запугала беглых клиентов, и те к ней вернулись; она стала полновластной владычицей своего маленького мирка. И за спасение своих пятидесяти процентов торговой компании “Гама” Белла получила почетное прозвище: от светских салонов кочинского форта до эрнакуламских доков, от британской Резиденции в старинном дворце Болгатти до Пряных гор шла молва о королеве Изабелле Кочинской. Прозвище ей не слишком нравилось, хотя стоявшее за ним восхищение наполняло ее жаркой гордостью. “Зовите меня Беллой, – настаивала она. – Просто Беллой”. Но она была далеко не проста и, в отличие от дочери любого местного князька, заработала титул сама.

¹⁹ Свершившимся фактом (*фр.*).

Через три года Айриш и Кармен сдались: их пятьдесят процентов были уже на грани исчезновения. Белла могла выкупить их долю за бесценок, но, поскольку Камоинш никогда так не поступил бы с братом, она переплатила вдвое. И в последующие годы так же яростно билась за спасение “Айришевых пятидесяти”, как за свою половину. Так или иначе, название фирмы она изменила: компания “Гама” больше не существовала. В ее отреставрированном здании теперь размещался частный торговый дом с ограниченной ответственностью “К-50”, или “Камоинш – пятьдесят процентов”. “Это показывает, – часто повторяла она, – что в нашей жизни пятьдесят плюс пятьдесят будет снова пятьдесят”. В том смысле, что бизнес благодаря *реконкисте* королевы Изабеллы может вновь стать единым, но раскол в семье остается непреодоленным; баррикады из мешков так и не были разобраны. Их не разбирали еще много лет.

Она не была безупречна; наверное, пришла пора об этом сказать. Она была высока, стройна, красива, блестяща, отважна, трудолюбива, энергична, победоносна – но увы, леди и джентльмены, королева Изабелла не была ангелом, крылья и нимб не принадлежали к ее гардеробу, нет, господа. В те годы, когда Камоинш отбывал срок, она дымила как паровоз, постепенно до того пристрастилась к бранной речи, что перестала сдерживаться даже в присутствии подрастающей дочери, и порой, мертвецки упившись, как последняя шлюха, засыпала на циновке в каком-нибудь кабаке; она стала крепчайшим из орешков, ходили слухи, что ее манера ведения дел включала в себя элемент устрашения – некоторого, скажем так, выкручивания рук поставщикам, заказчикам, конкурентам; и она постоянно, небрежно, бесстыдно изменяла мужу, изменяла без всякого удержу и разбора. Бывало, скинув рабочую одежду, она надевала шикарное, шитое бисером платье и шляпку колокольчиком, упражнялась в чарльстоне перед зеркалом в гардеробной, широко открыв глаза и надув губки, после чего, оставив Аурору на попечении няни, ехала в Малабар-клуб. “До свидания, синичка моя, – говорила она своим низким прокуренным голосом. – Мама сегодня охотится на тигров”. Или, взбрыкивая пятками и отчаянно кашляя: “Сладких снов, моя отрада, – мать на льва пошла в засаду”.

Впоследствии моя мать Аурора да Гама рассказывала в своем богемном кругу:

– Тогда, в пять-шесть-семь-восемь лет, я уже была настоящей светской дамой. Если звонил телефон, я поднимала трубку и говорила: “Мне очень-очень жаль, но папа и дядюшка Айриш сидят в тюрьме, тетя Кармен и бабушка живут по ту сторону пахучих мешков и им нельзя сюда заходить, а мама ушла на всю ночь стрелять в тигров; что-нибудь передать?”

Пока Белла предавалась гульбе, маленькая одинокая Аурора, предоставленная самой себе в этом сюрреалистически расколотом доме, обращала взор внутрь себя, в чем состоит блаженство и награда одиночества; именно тогда, согласно легенде, она обнаружила в себе дар. Когда она стала взрослой и ее окутало облако культа, почитатели любили порассуждать про маленькую девочку в большом пустом доме, как она распахивала окна и как вливавшаяся в них потоком индийская действительность пробуждала ее душу. (Вы увидите, что в этом образе сплавлены два эпизода из отрочества Ауроры.) О ней с восторгом говорили, что даже в детстве она никогда не рисовала по-детски, что в самых ранних ее фигурах и пейзажах видна зрелая рука. Это был миф, который она не считала нужным опровергать; вполне возможно, она сама его и создала, проставив на некоторых работах более ранние даты и уничтожив свои первые пробы. И все же, видимо, верно то, что жизнь Ауроры в искусстве началась в эти долгие часы без матери; что у нее уже тогда был талант рисовальщицы и колористки, который специалист мог бы сразу распознать; что она держала свое увлечение в строжайшей тайне и прятала все принадлежности и рисунки, поэтому Белла никогда об этом не узнала.

Она приносила краски из школы, тратила все свои карманные деньги на цветные мелки, бумагу, перья, китайскую тушь и детские акварельные наборы, брала на кухне древесный уголь, и ее няня Джози, которая все знала, которая помогала ей прятать альбомы и этюдники, ни разу не обманула ее доверия. Лишь после того, как Эпифания ее заперла... но не буду забегать впе-

ред. К тому же есть более изощренные умы, чем мой, чтобы написать о таланте моей матери, есть глаза, яснее моих видящие, чего она достигла. Меня же, когда я представляю себе образ маленькой одинокой девочки, которой суждено было стать моей бессмертной матерью, моей Немезидой, моей врагиней за гранью могилы, занимает то, что она никогда не винила в своей заброшенности ни отца, который все годы ее детства провел в тюрьме, ни мать, которая дни напролет занималась бизнесом, а ночами охотилась на крупного зверя; нет, она боготворила их обоих и не терпела ни слова критики (к примеру, от меня) по поводу их отношения к родительским обязанностям.

(Однако сокровенную свою суть она хранила от них в тайне. Прячала ее в своей груди, откуда она не вырвалась на волю, как оно всегда и бывает, – потому что иначе не может быть.)

Эпифанию во время молитвы —

старееющую, потому что, когда сыновей посадили, ей было сорок восемь, а когда спустя девять лет выпустили – пятьдесят семь, *годы проплывают мимо, как отвязанные лодки, Господи, словно мы так богаты временем*, – охватывал своего рода экстаз, апокалиптическое безумие, в котором смешивалось все: и вина, и Бог, и уязвленная гордость, и конец света, и разрушение старых форм наступающим ненавистным новым, *так не годится, Господи, не годится, чтобы меня в моем собственном доме держали за грудой мешков, чтобы я не могла из-за этой полоумной переступить белую черту*, расчесывала она укусы прошлого и настоящего, *мои собственные слуги, Господи, не дают мне шагу ступить, потому что я тоже в тюрьме, а они – мои тюремщики, я не могу их прогнать, потому что не я им плачу, все она, она, она, – везде и всюду она, но я могу ждать, ничего, потерпим, придет мое времечко*, и она призывала все мыслимые беды на головы Лобу, *доколе вы меня будете мучить, пресветлый Иисус, пресвятая дева Мария, доколе мне жить с дочерью этой проклятой семьи, с бесплодной смоковницей, которую я по доброте пожалела, вот как она мне оплатила, всю типографскую свору сюда позвала и разбила мне жизнь*, но порой мертвецы вставали во весь рост и указывали на нее, *Господи, я великая грешница, меня надо кинуть в жгучие льды, в кипящее масло, смилуйся надо мной, мать Божья, над малейшей из малых, вызволи меня, если будет на то Твоя воля, из бездны Преисподней, ибо именем моим и делами моими великое, смертное зло пришло в мир*, и она назначала себе кары, *сегодня, Господи, я решила спать без москитной сетки, я готова, Господи, к жгущему Твоему гневу, пусть исколют меня в ночи, пусть кровь мою высосут, пусть вольют в меня, мать Божья, горький яд Твоего воздаяния*, и эта епитимья продолжалась до освобождения ее сыновей, когда она отпустила себе свои грехи и вновь по ночам стала окутываться облаком защитного тумана, слепо отказываясь замечать, что за годы неупотребления в и так уже дырявых москитных сетках моль проела немало новых прорех, *Господи, у меня выпадают волосы, жизнь разбита, Господи, и я уже старая*.

А Кармен в своей одинокой постели

ласкала себя пальцами ниже пояса, оплетала себя, пила свою собственную горечь и звала ее сладостью, шла своей собственной пустыней и звала ее зеленым садом, возбуждала себя фантазиями о темнокожем матросе, раскрывающем ей объятия на заднем сиденье черной с золотом, обшитой изнутри деревянными панелями семейной “лагонды”, или о совращении когонибудь из любовников Айриша в семейной “испано-сюизе”, *о Господи, сколько же новых мужчин у него будет, есть, было в тюрьме, и ночь за ночью,*

лежа без сна, она гладила свое костлявое тело, а молодость меж тем уходила, двадцать один, когда Айриша посадили, тридцать, когда он вышел, *и все еще нетронутая, непочатая, и не суждено никогда никому, кроме этих пальцев, они-то знают, о, знают, о, о...* в скользком мыле ванны, в жарком поту базара она находила свою долю радости, *не так все замышлялось, муженек Айриши, свекровушка Эпифания, замышлялось красиво; и красота меня окружает, бесконечная красота Беллы, своеволие и власть ее красоты. Но я, я, я — некрасота. В этом доме, под пятой у красоты, я была – да, господа, была и есть – мерзкая тварь, охо-хо, миледи и милорды, истинно так, и, закрывая несчастные свои глаза, выгибая спину, она отдавалась похоти омерзения, сдери с меня шкуру оставь голое мясо разреши начать сызнова без расы без имени без пола о пусть орехи сгниют в скорлупах о пусть пряности увянут на солнце о гори все о гори все гори, охх,* и потом, рыдая, съезживалась под одеялом, а объятые пламенем мертвецы обступали ее, подходили все ближе и были: *отмщение!*

В день, когда Ауроре да Гаме исполнилось десять лет, человек с аккордеоном, *чарак-чу*, северным выговором и магическим даром спросил ее: “Ну, а чего ты хочешь больше всего на свете?” – и не успела она ответить, как желание было исполнено. В гавани прогудел сиреной моторный катер, и когда он приблизился к пристани на острове Кабрал, она увидела на палубе Айриша и Камоинша, освобожденных на шесть лет раньше срока, *кожища да косточки*, крикнула их осчастливленная мать. Стоят бок о бок, вяло машут встречающим и улыбаются одинаковой улыбкой – неуверенной и одновременно жадной улыбкой отпущенных арестантов.

Дедушка Камоинш и бабушка Белла обнялись на пристани.

– Я распорядилась выгладить и приготовить самую твою страшную долгополую рубашку, – сказала она. – Поди прими подарочный вид и преподнеси себя этой имениннице – вон стоит, улыбается во весь рот. Гляди, уже, как деревце, вымахала и пытается узнать своего папу.

Я ощущаю их взаимную любовь, плывущую ко мне сквозь годы; как сильна она была, как мало им было отпущено времени! (Да, несмотря на все ее блядство, я настаиваю: то, что было у Беллы с Камоиншем, – это высший класс, без обмана.) Я слышу, как она кашляет, не в силах сдержаться, даже подводя мужа к дочери, и этот глубокий надсадный кашель рвет мои легкие, словно мой собственный.

– Слишком много курю, – прохрипела она. – Дурная привычка. – И, чтобы не слишком омрачать встречу, солгала: – Я брошу.

Она выполнила мягкую просьбу Камоинша – “Семья пережила слишком многое, пора выздоравливать”, – и баррикады из мешков, отделявшие ее от Эпифании и Кармен, были разобраны. Ради Камоинша она раз и навсегда отказалась от своей рассеянной и развратной жизни. По просьбе мужа она предоставила Айришу место в совете директоров компании, хотя ввиду его плачевного финансового положения вопрос о выкупе им своей доли не поднимался. Я думаю, я надеюсь, что они – Белла и Камоинш – были замечательными любовниками, что его застенчивая нежность и ее телесная жадность великолепно дополняли друг друга; что в невероятно краткие три года после освобождения Камоинша у них было вдоволь счастливых объятий.

Но все эти три года она кашляла, и хотя после случившегося во вновь объединенном доме люди старались соблюдать осторожность, ее взрослеющая дочь отнюдь не обманывалась. “Еще до того, как я услышала в ее груди голос смерти, они, эти ведьмы, все знали, – говорила мне мать. – Я поняла, что две стервы просто ждут своего часа. Разделились однажды – разделились навсегда; в том доме не как-нибудь, а насмерть воевали”.

Когда в один из вечеров вскоре после возвращения братьев семья по предложению Камоинша собралась в давно не использовавшемся большом зале, под портретами предков, на общий ужин в знак примирения, все испортила именно больная грудь Беллы; увидев, как невестка откашляет в металлическую плевательницу кровавую мокроту, Эпифания, председательствовавшая за столом в черной кружевной мантилье, не удержалась: “Кто деньги хапнул, тому, знать, и манеры уже ни к чему”, – и разразилась буря взаимных обвинений, сменившаяся хрупким перемирием, но уже без совместных трапез.

Она просыпалась с кашлем и яростно, пугающе откашливалась перед отходом ко сну. Приступы кашля будили ее среди ночи, она принималась бродить по старому дому и распахивать окна... через два месяца после возвращения Камоинш, проснувшись ночью, обнаружил, что она кашляет в горячечном сне и изо рта у нее сочится кровь. Диагностировали туберкулез обоих легких, его тогда умели лечить гораздо хуже, чем сейчас, и врачи сказали ей, что предстоит тяжкая битва за выздоровление и ей следует резко ограничить себя по части работы. “Ну и гадство же, – прохрипела она. – Сделала я тебе раз из дерьма конфетку, смотри не испогань все опять – исправлять будет некому”. Услышав эти слова, мой добрейший дедушка, чье сердце разрывалось от любви и тревоги, зарыдал горячими слезами.

Айриш, вернувшись, тоже обнаружил в жене перемену. В первый вечер после его освобождения она явилась к нему в спальню и сказала:

– Если ты опять за старое, за срамные свои дела, я убью тебя во сне, Айриш.

В ответ он отвесил ей низкий поклон, поклон светского льва времен Реставрации: протянутая правая рука выписывает в воздухе сложные завитушки, правая нога выставлена вперед и в сторону, ее носок щегольски поднят – и Кармен ушла. Он не отказался от своих походов, но стал осмотрительней; для послеполуденных радостей он снял квартиру в Эрнауламе с неторопливым вентилятором под потолком, отстающими от стен скучными голубовато-зелеными обоями, душем, работающим от ручного насоса, уборной без стульчака и большой приземистой кроватью – деревянная рама и ремни, которые он ради гигиены и прочности распорядился заменить новыми. Дневной свет, проникавший сквозь бамбуковые жалюзи, покрывал тонкими полосками его тело и тело того, кто был с ним, и гомон базара сливался со стенами сладострастия.

По вечерам он играл в бридж в Малабар-клубе, что мог подтвердить там кто угодно, или, как образцовый семьянин, сидел дома. Он стал запирает дверь своей спальни на всякий замок и приобрел английского бульдога, которому, чтобы подразнить Камоинша, дал кличку Джавахарлал. Он остался таким же, как до тюрьмы, противником Конгресса с его требованиями независимости и теперь пристрастился к писанию писем в редакции газет, чьи страницы он наводнял доводами в поддержку так называемой либеральной альтернативы. “Предположим, дурная политика изгнания наших правителей увенчалась успехом – что тогда? – вопрошал он. – Откуда в нынешней Индии возьмутся демократические институты, способные заменить Британскую Руку, которая, как я могу засвидетельствовать лично, милостива даже когда она наказывает нас за наши детские безобразия?” Когда либеральный редактор газеты “Лидер” мистер Чинтамани выразил мнение, что “Индия должна предпочесть нынешнюю незаконную власть реакционной и ничуть не более законной власти, которая грозит ей в будущем”, мой двоюродный дедушка отправил ему послание, гласившее: “Браво!”; а когда другой либерал, сэр П. С. Шивасвами Айер, написал, что, “выступая за созыв конституционной ассамблеи, Конгресс проявляет ни на чем не основанную веру в мудрость толпы и несправедливо принижает талант и благородство людей, участвовавших в различных конференциях за круглым столом. Я сильно сомневаюсь в том, что конституционная ассамблея сможет добиться большего”, – Айриш да Гама выступил в его поддержку: “Я *всей душой* с Вами! Простой человек в Индии всегда с уважением прислушивался к советам лучших людей – людей образованных и воспитанных!”

На следующее утро Белла дала ему бой на пристани. Лицо ее было бледно, глаза – красны, она куталась в шаль, но непременно хотела проводить Камоинша на работу. Когда братья шагнули на борт семейного катера, она помахала перед лицом Айриша утренней газетой.

– В нашем доме и образования, и воспитания было хоть отбавляй, – сказала Белла во весь голос, – а мы перегрызлись, как собаки.

– Не мы, – возразил Айриш да Гама. – Наши скотски невежественные нищие родственники, из-за которых, черт побери, я достаточно хлебнул горя и за которых я не намерен отдуваться до конца своих дней. Да перестань ты лаять, Джавахарлал, тихо, дружок, тихо.

Камоинш побагровел, но прикусил язык, подумав о Неру в алипурской тюрьме и о многих других самоотверженных мужчинах и женщинах в дальних и ближних застенках. Ночью он сидел у постели кашляющей Беллы, обтирал ей глаза и губы, менял холодные компрессы у нее на лбу и шептал ей о том, что грядет новая жизнь, Белла, *у нас будет свободная страна: превьшие религий – ибо светская, превьшие классов – ибо социалистическая, превьшие каст – ибо просвещенная, превьшие ненависти – ибо любящая, превьшие мести – ибо прощающая, превьшие племени – ибо единая, превьшие наречия – ибо многоязычная, превьшие расы – ибо многоцветная, превьшие бедности – ибо способная ее победить, превьшие невежества – ибо грамотная, превьшие глупости – ибо талантливая, – свобода, Белла, мы к ней помчимся экспрессом, скоро, скоро мы будем с тобой стоять на перроне и радоваться подходящему поезду*, и под этот экстатический шепот она засыпала, и ее посещали видения разрухи и войны. Когда она засыпала, он читал ее бесчувственной оболочке стихи:

Не торопись принять блаженство смерти,
Еще хоть через силу подыши²⁰,

и он обращался не только к жене, но и к несчастным узникам, ко всей подневольной стране; охваченный ужасом, склонялся над бранным, сонным, больным телом и пускал по ветру свою страдальческую любовь:

Пусть ложь исполнит все свои труды —
Умрет она, и правда воссияет,
Хотя б никто не видел в ней нужды²¹.

Это был не туберкулез – точнее, не только туберкулез. В 1937 году у Изабеллы Химены да Гамы, урожденной Союза, которой было всего тридцать три года, нашли рак легкого, уже достигший последней, смертельной стадии. Она отошла быстро, испытывая страшные боли, свирепо негодуя на врага в ее собственном теле, яростно восставая против подлой смерти, что явилась так рано и ведет себя так бесцеремонно. Воскресным утром, когда по воде доносился церковный звон, а в воздухе попахивало древесным дымком, когда Аурора и Камоинш были у ее постели, она сказала, повернув лицо к струящемуся свету:

– Помните историю про испанского Сиды Кампеадора²²? Он тоже любил женщину по имени Химена.

– Да, мы помним.

– И когда он получил смертельную рану, он велел ей привязать свое мертвое тело к лошади и пустить ее в гущу битвы, чтобы враги думали, что он еще жив.

²⁰ Слегка измененная цитата из «Гамлета» У. Шекспира (акт V, сцена 2).

²¹ Цитата из стихотворения «Magna Est Veritas» английского поэта Ковентри Патмора (1823–1896).

²² Родриго Диас де Бивар (Сид Кампеадор) (умер в 1099 г.) – прославившийся своими подвигами испанский рыцарь, воспетый в «Песни о моем Сиде» (XII в.); герой трагедии П. Корнея «Сид».

– Да, мама, любовь моя, да.

– Тогда привяжите мое тело к рикше, черт бы ее драл, или к чему найдете, к верблюжьей ослиной воловьей повозке, к велосипеду, только, ради бога, не к слону поганому, хорошо? Потому что враг близко, и в этой печальной истории Химене приходится быть Сидом.

– Я сделаю, мама.

[Умирает.]

4

Нам в нашей семье всегда было трудно дышать воздухом мира сего; мы рождались с надеждой на нечто лучшее.

Говорить за себя – в этот поздний час? Спасибо за совет, как раз собираюсь с силами; ведь я стал преждевременно стар, стар, стар. Я, можно сказать, слишком быстро жил, и как марафонский бегун, который рухнул, не дождавшись второго дыхания, как астронавт, который слишком весело танцевал на Луне, я использовал весь отпущенный мне воздух. О расточительный Мавр! К тридцати шести годам надышать на полные семьдесят два! (Хотя скажу справедливости ради, что особого выбора у меня не было.)

Итак: трудность имеется, но я с ней справляюсь. По ночам раздаются всякие звуки, вой и рык фантастических зверей, затаившихся в джунглях моих легких. Я просыпаюсь, полузадохшийся, и в дремотном дурмане хватаю воздух горстями, тщетно пытаюсь затолкать его себе в рот. Все же вдохнуть легче, чем выдохнуть. Как вообще легче поглощать, что предлагает жизнь, чем отдавать результаты этого поглощения. Как легче принимать удары, чем бить в ответ. Так или иначе, с хрипом и присвистом я в конце концов выдыхаю – победа. Кроме шуток, тут есть чем гордиться; можно похлопать себя по ноющему плечу.

В такие моменты я и мое дыхание – одно. Вся жизненная сила, какая у меня еще есть, фокусируется на функциях моих сдающих легких, на кашле, на отчаянных рыбьих зевках. Я – существо, которое дышит. Его путь, начавшийся давным-давно с плача, с выдоха, завершится, когда поднесенное к губам зеркальце останется незамутненным. Не мышление, а воздух делает нас тем, что мы есть. *Suspiro ergo sum*. Вдыхаю, следовательно существую. Латынь, как всегда, не врёт: *suspirare*=*sub* (под) + *spirare* (дышать).

Suspiro: под-дыхиваю. По-дыхаю.

В начале, в середине и в конце было и есть – Легкое: божественный дух, младенческий первый крик, возделанный воздух речи, порывистое стаккато смеха, сверкающая слитность песни, стон счастливой любви, плач несчастной любви, скулеж обиженного, кряхтенье старца, смрадное дыханье болезни, предсмертный шепот и превыше, превыше всего – безмолвная, бездыханная пустота.

Вздох – это не просто вздох. Вдыхая мир, мы выдыхаем смысл. Пока мы в силах. Пока мы в силах.

– *Мы дышим светом!* – поют деревья. В конце пути в этом краю олив и каменных гробниц листва вдруг обрела слова. *Мы дышим светом!* – и вправду так; доходчиво, ничего не скажешь. “Эль Греко” – вот как называется этот речистый сорт олив, довольно-таки удачно – в честь световдохновенного, богоодержимого грека.

Но с этой минуты я больше не слушаю лепечущую зелень со всей ее древесной метафизикой и хлорофиллософией. Мое родословное древо говорит все, что мне нужно.

У меня было диковинное жилище – увенчанная башней крепость Васко Миранды в городке Бененхели, глядящая с бурого холма на сонную равнину, которой пригрезилось среди блистающих миражей, что она – среди-земное море. И я грезил вместе с ней, и в высоком окне-бойнице мне мерещился не испанский, а индийский юг; бросая вызов времени и пространству, я пытался проникнуть в темную эпоху между смертью Беллы и появлением на сцене моего отца. Сквозь эти узкие врата, сквозь трещину во времени я видел Эпифанию Менезиш да Гаму, коленапреклоненную, молящуюся, и ее домашняя церковка золотисто сияла во мраке просторного лестничного колодца. Но стоило мне моргнуть, как являлась Белла. Однажды вскоре после освобождения из тюрьмы Камоинш вышел к завтраку, одетый в простонародный

кхаддар²³; Айриш, вновь сделавшийся денди, приснул в свою тарелку с кеджери²⁴. После завтрака Белла отвела Камоинша в сторонку.

– Не паясничай, мой милый, – сказала она. – Наш долг перед страной – вести свой бизнес и смотреть за рабочими, а не рядиться мальчишками на посылках.

Но на этот раз Камоинш был непоколебим. Как и она, он был за Неру, а не за Ганди – то есть за бизнес, технологию, прогресс, современность, за город – в противовес всей сентиментальной демагогии о том, чтобы ткать собственное полотно и ездить в поездах третьим классом. Но ему нравилось ходить в домотканой одежде. Хочешь сменить власть – смени сначала платье.

– О'кей, Бапуджи²⁵, – дразнила она его. – Но я-то из брюк не вылезу, не надейся – разве что ради какого-нибудь сногшибательного платья.

Я смотрел на молящуюся Эпифанию и благодарил судьбу за великую удачу, которая казалась мне в свое время чем-то совершенно обычным, – а именно за то, что мои родители были напрочь избавлены от религии. (Где оно, это лекарство, это противоядие, этот универсальный антипопин? Разлить бы его по бутылочкам и распространить по всему земному шару!) Я смотрел на Камоинша в домотканой рубашке и думал о том, как однажды, без Беллы, он отправился через горы в городок Мальгуди на реке Сарайю только затем, чтобы услышать выступление Махатмы Ганди, – при том что Камоинш был сторонником Неру. Он писал в дневнике:

В этой громадной массе людей, сидящих на прибрежном песке, я был всего лишь крупинкой. Волонтеры в белых кхаддарах во множестве сновали вокруг трибуны. Хромированная подставка микрофона сверкала на солнце. Там и сям виднелись полицейские. Среди людей ходили активисты и просили сохранять тишину и спокойствие. Люди слушались... река несла свои воды, на берегу гигантские баньяны и фикусы шелестели листвой; толпа в ожидании ровно гудела, время от времени раздавались хлопки бутылок с содовой; продолговатые искривленные ломти огурца, натертые подсолонной корой лайма, быстро исчезали с деревянного подноса торговца, который, понизив голос перед выступлением великого человека, повторял: "Огурца от жажды, кому огурца?" Защищаясь от солнца, он обмотал голову зеленым махровым полотенцем.²⁶

Потом появился Ганди, и все стали ритмично хлопать в ладоши над головами и распевать его любимый *дхун*²⁷:

Рагхупати Рагхава Раджа Рам
Патита павана Сита Рам
Ишвара Аллах тера нам
Сабко Санмати де Бхагван.

После этого прозвучало: *Джай Кришна, Харе Кришна, Джай Говинд, Харе Говинд*, прозвучало: *Самб Садашив Самб Садашив Самб Садашив Самб Шива Хар Хар Хар Хар*.

– Потом, – сказал Камоинш Белле по возвращении, – я уже ничего не слышал. Я увидел красоту Индии в этой толпе с ее огурцами и содовой водой, но религиозный фанатизм меня напугал. Мы в городе за светскую Индию, но деревня вся за Раму. Они поют: "Ишвара²⁸ и Аллах имя твое", но на уме у них другое, на уме у них один только Рама, властитель из рода Рагху,

²³ Кхаддар – одежда из домотканой хлопчатобумажной материи.

²⁴ Кеджери – жаркое из риса и рыбы с приностями.

²⁵ Бапуджи (Папа) – так называли Махатму Ганди.

²⁶ Здесь использован отрывок из романа Р. К. Нараяна "В ожидании Махатмы".

²⁷ Экуменический распев, славословящий и Раму, и Аллаха.

²⁸ Ишвара – Бог в монотеистическом понимании в ряде школ индуизма.

муж Ситы, гроза грешников. Я боюсь, что в конце концов деревня пойдет на город войной, и таким, как мы, придется запираиться в домах от Карающего Рамы.

5

Через несколько недель после смерти жены на теле Камоинша да Гамы во сне стали появляться таинственные царапины. Первая – сзади на шее, ему на нее указала дочь; затем – три длинные линии, словно след грабеля, на правой ягодице; наконец, еще одна – на щеке, вдоль края эспаньолки. Одновременно Белла начала посещать его в сновидениях, обнаженная и требовательная, и он просыпался в слезах, потому что, даже занимаясь любовью с этой призрачной женщиной, знал, что она не существует. Но царапины существовали и были вполне реальны, и хотя он не сказал этого Ауроре, ощущение, что Белла вернулась, родилось у него не в меньшей степени из-за этих любовных отметин, чем из-за отворенных окон и исчезнувших слоновьих безделушек.

Его брат Айриш истолковал пропажу бивней и статуэток Ганеши несколько проще. В центральном дворе под фикусовым деревом с выбеленным внизу стволом он собрал всех слуг и в послеполуденную жару стал прохаживаться перед ними взад-вперед в соломенной панаме, рубашке без воротника и белых парусиновых брюках с красными подтяжками; с металлом в голосе он заявил, что один из них, вне всяких сомнений, оказался вором. Домашние слуги, садовники, лодочники, подметальщики, чистильщики уборных стояли потной, колеблемой ужасом шеренгой, растянув лица в одинаковых заискивающих улыбках; бульдог Джавахарлал угрожающе ворчал, а его хозяин Айриш награждал прислугу жуткими евро-индийскими кличками.

– А ну живо все начистоту! – требовал он. – Говиндюшати́на, ты украл? Наллаппабумбия Карампалитильцхен? Сознавайтесь, *pronto*²⁹!

Бби, которых он отхлестал по щекам, были у него *Твидлдам и Твидлди*³⁰, садовников, получивших по тычку в грудь, он окрестил именами орехов и специй – *Кешью, Фисташка, Кардамон Крупный и Кардамон Мелкий*, – а двоим чистильщикам уборных, до которых он, конечно, не дотрагивался, достались прозвища *Какашка и Писюшка*.

Аурора прибежала стремглав, догадавшись по звукам, что происходит, и впервые в жизни в присутствии слуг почувствовала стыд, просто не могла взглянуть им в глаза и, повернувшись к семье (она была в полном составе, ибо и бесстрастная Эпифания, и Кармен с осколком льда в сердце, и даже Камоинш – он поживался, но, приходится признать, не вмешивался – вышли посмотреть на Айришеву технику допроса), пронзительно, забирая все выше, выкрикнула признание: *Это-не-они-это-была-я!*

– Что-о? – издевательски-досадливо взвизгнул Айриш – мучитель, которого лишали удовольствия. – Нельзя ли погромче, я не слышу ни слова.

– Отпусти их немедленно! – завопила Аурора. – Они ни в чем не виноваты, и не трогали они твоих слонов, так их разэтак, и треклятых зубов слоновьих тоже. Я сама все это выкинула!

– Деточка, зачем? – спросил побледневший Камоинш.

Бульдог, рыча, оскалился.

– Не смей меня называть деточкой! – вскинулась она и на отца. – Мама давно хотела это сделать. Теперь я буду вместо нее – ясно вам? А ты, дядя Айриш, запер бы лучше этого мерзкого пса, я, кстати, для него кличку придумала, которая ему *действительно* подходит: *Шавка-Джавка*, он только брехать умеет, а укусить боится.

Сказала, повернулась и ушла с высоко поднятой головой, оставив всех стоять с разинутыми от удивления ртами, словно перед ними и впрямь возникла аватара, новое воплощение Беллы, ее оживший дух.

²⁹ Немедленно, живо (*исп.*).

³⁰ Твидлдам и Твидлди – персонажи из “Алисы в Зазеркалье” Л. Кэрролла.

Но заперли все-таки не пса, а Аурору: в наказание она должна была неделю провести в своей комнате на рисе и воде. Впрочем, сердобольная Джози тайком носила ей другую еду и питье – *идли, самбар*³¹, а еще картофельно-мясные котлеты, рыбу в сухарях, остро приправленных креветок, банановое желе, крем-брюле, газировку; та же старая нянька незаметно доставила ей рисовальные принадлежности – уголь, кисти, краски, – посредством которых в этот момент подлинного повзреления Аурора решила раскрыть окружающим свое внутреннее “я”. Всю неделю она трудилась, забывая о сне и отдыхе. Когда Камоинш подходил к двери, она гнала его прочь – она, дескать, отбудет положенный срок и не нуждается в утешении прошедшего тюрьму отца, который не пожелал вступить за дочь и защитить ее от заточения; он, повесив голову, удалялся.

Но когда время домашнего ареста истекло, Аурора сама пригласила Камоинша войти, сделав его вторым человеком на свете, увидевшим ее работу. Все стены комнаты и даже потолок, вплоть до дальних закоулков, кишели фигурами человеческими и звериными, реальными и фантастическими, нарисованными стремительной черной линией, бесконечно изменчивой, тут и там ввинчивающейся в обширные области цвета, где земля была красной, небо – фиолетовым и пунцовым, зелень – сорока разных оттенков, линией столь мощной и вольной, столь густой, щедрой и яростной, что у Камоинша, сердце которого распирало от родительской гордости, невольно вырвалось: “Да это же сам великий рой бытия!” Вглядываясь в распахнутую перед ним дочерью вселенную, он постепенно стал различать отдельные сюжеты: нанося на стены историю страны, Аурора первым делом изобразила царя Гондофера, приглашающего в Индию апостола Фому; от Севера она взяла императора Ашоку с его “колоннами закона” и очереди людей, желающих встать спиной к колонне и, заведя за нее руки, попытаться их соединить, что якобы приносит удачу; дальше, в ее плоской передаче, шли эротические храмовые изваяния со столь откровенными подробностями, что Камоинш отвел глаза, и строительство Тадж-Махала, творцы которого, как показала ее недрогнувшая кисть, были изувечены, у них отрубили руки, чтобы великие мастера не могли создать больше ничего подобного; перейдя к своему родному Югу, она нарисовала битву при Серингапатаме, меч Типу Султана, волшебную крепость Голконду, где негромкая речь человека, стоящего в надвратной башне, явственно слышна в цитадели, и прибытие первых евреев в стародавние времена. Современная история тоже вся была здесь: тюрьмы, полные пламенных борцов, Конгресс и Мусульманская лига, Неру-Ганди-Джинна-Патель-Бозе-Азад³², британские солдаты, шепотом обменивающиеся слухами о близкой войне; а помимо истории на стенах жили существа, рожденные фантазией художницы: гибриды, кентавры, полуженщины-полутигры, полумужчины-полузмеи, здесь же морские чудища и горные духи. На почетном месте красовался Васко да Гама собственной персоной: ступив на индийскую землю, он принюхивался и выискивал, чем таким пряным, горячительным, денежным можно тут поживиться.

Камоинш начал выхватывать взглядом семейные портреты, портреты не только живущих и умерших, но даже еще не рожденных – например, ее будущих детей, скорбно стоящих вокруг ее мертвой матери подле большого рояля. Он был шокирован изображением Айриша да Гамы на фоне корабельных мастерских, совершенно голого, светящегося и окруженного надвигающимися на него со всех сторон темными фигурами; он был потрясен пародией на Тайную вечерю, в которой их домашние слуги разнузданно бражничали за большим обеденным столом под висящими на стенах портретами своих оборванных предков, а члены семьи да Гама, прислуживая им, разносили пищу, разливали вино и терпели издевки: Кармен кто-то ущипнул за мягкое место, Эпифании дал пинок под зад пьяный садовник; но мощный композицион-

³¹ *Идли, самбар* – популярные в Южной Индии блюда.

³² Перечислены крупные деятели национально-освободительного движения.

ный поток нес его и нес, не позволяя задерживаться на личном, увлекая в гущу толпы, ибо позади, и вокруг, и выше, и ниже, и посреди семьи, повсюду была человеческая масса, густая, всепроникающая и безграничная; Аурора построила свою грандиозную работу таким образом, что ее родственники должны были проталкиваться, продираться сквозь кишение вымышленных лиц, она утверждала тем самым, что отгороженность острова Кабрал – иллюзия, а истина – в этом нагромождении, в этом улье, в этой бесконечно вьющейся линии людского бытия; и куда Камоинш ни смотрел, всюду он видел ярость женщин, мучительную слабость и компромисс на лицах мужчин, двуполость детей, смиренно-бесстрастные лики мертвецов. Он недоумевал, откуда она обо всем этом знает, и, ощущая на языке горечь отцовской несостоятельности, думал о том, что в столь юном возрасте она не должна была столько всего вкусить от злобы, боли и разочарования мира сего и так мало – от его сладости; *ты должна научиться радоваться*, хотел он сказать, *тогда, только тогда твой дар воплотится до конца*, но она уже знала так много, что слова замерли у него на устах и он не посмел их произнести.

И лишь Бога там не было: сколь пристально ни вглядывался Камоинш в стены, сколь внимательно, стоя на стремянке, ни рассматривал потолок, он не обнаружил ни распятого, ни нераспятого Христа, ни какого-либо иного божества, ни русалки, ни лесной нимфы, ни единого ангела, черта или святого.

И все это было погружено в ландшафт, от вида которого Камоинша бросило в дрожь, ибо это была сама Мать Индия, Мать Индия с ее кричащими красками и неостановимым движением, Мать Индия, которая любит, предает, пожирает, уничтожает и вновь любит своих детей, которая в них, детях, возбуждает страстное влечение и яростный гнев, не утихающие и за гранью могилы, которая простирается до великих гор, подобных восклицаниям души, тянется вдоль полноводных рек, несущих и милость, и заразу, охватывает суровые знойные плоскогорья, где люди крошат кирками и мотыгами сухую неплодородную почву; Мать Индия с ее океанскими побережьями, кокосовыми пальмами, рисовыми полями и волами у колодезцев, с ее журавлями на деревьях, выгибающими шеи наподобие вешалок для одежды, с кружащими в небе стервятниками, раздражительными криками скворцов-майн и желтоклювой свирепостью ворон, протейчески-изменчивая Мать Индия, которая может обернуться чудищем, морским червем, поднимающим над водой на длинной чешуйчатой шее голову с лицом Эпифании; которая может сеять смерть, плясать на тысячах трупов, косоглазая и кровавоязыкая, словно грозная богиня Кали; но превыше всего, в самом центре потолка, где к острию грандиозного рога изобилия сходились все линии, была Мать Индия с лицом Беллы. Умершая “королева Изабелла” была здесь единственной богиней-матерью; исходной причиной первого могучего творческого выброса Ауроры оказалась простая боль человеческой утраты, безутешная тоска осиротевшего ребенка. Комната была ее актом прощания.

Камоинш, поняв все, обнял ее, и они заплакали вместе.

Да, мама, прежде чем стать матерью, ты была дочерью. Одна женщина подарила тебе жизнь, у другой ты ее отняла... О, это история многих внезапных кончин, многих злоумышлений и злодеяний, многих смерто- и самоубийств. Люди играли во всем этом главную роль, а огонь, вода и болезнь были только подспорьем, сопутствующими – или скорей *обволакивающими и проникающими* – факторами.

В ночь перед Рождеством 1938 года, ровно через семнадцать лет после того, как юный Камоинш впервые привел в дом семнадцатилетнюю Изабеллу Соузу, их дочь и моя мать Аурора да Гама проснулась от менструальных болей и не могла вновь уснуть. Она пошла в ванную и проделала то, чему научила ее старая Джози, использовав вату, марлю и длинную ленту, чтобы все держалось на месте... упаковавшись как должно, она легла на белый кафельный пол и стала пережидать боль. Через некоторое время ей полегчало. Она решила выйти в сад и омыть измученное тело в сияющем, беззаботном чуде Млечного Пути. *Добрая звезда*

светит нам всегда... мы глядим в вышину и надеемся, что звезды глядят оттуда на нас, мы молимся о путеводной звезде, прочерчивающей в небе путь нашей судьбы, но это гордыня наша и ничего больше. Мы смотрим на галактики и влюбляемся, но для Вселенной мы значим куда меньше, чем она для нас, и звезды остаются на своих кругах, как бы мы ни мечтали об ином. Да, конечно, если достаточно долго взирать на небесное колесо, можно увидеть вспышку падающего и умирающего метеора. Но это не та звезда, за которой стоит следовать, – просто камень, которому не повезло. Судьбы наши здесь, на земле, и нет для нас путеводных звезд.

После инцидента с отворенными окнами прошел год с лишним, и дом на острове Кабрал спал в ту ночь под знаком некоего перемирия. Аурора, уже достаточно взрослая, чтобы не бояться рождественского деда, накинула поверх ночной рубашки легкую шаль, обогнула спящую на своем матрасике у двери няню Джози и босиком пошла по коридору.

(Рождество, эту северную затею, эту снежно-чулочную сказку, этот праздник ярких каминных и северных оленей, латинских гимнов и немецкого *O Tannenbaum*³³, вечнозеленых деревьев и Санта-Клауса с его маленькими “помощниками”, тропическая жара возвращает к чему-то более исконному, ибо кем ни считай младенца Иисуса, он был дитя теплого климата; как скудна ни была его пища, она не была холодна; и если действительно к нему пришли мудрые волхвы, следуя (в чем, как сказано выше, особой мудрости не было) за звездой, явились они, не надо забывать, с Востока. В кочинском форте в английских домах стояли деревца с ватой на ветвях; в церкви Святого Франциска, тогда, в отличие от нынешних дней, англиканской, молодой священник Оливер д'Эт уже провел ежегодное рождественское богослужение; для Санта-Клауса были оставлены сладкие пирожки и стаканы молока, и, так или иначе, уж индейка-то на столах завтра будет, обязательно будет, и два вида начинки, и даже брюссельская капуста. Но здесь, в Кочине, много других христианских церквей, есть католики, есть сирийские православные и несториане, здесь служатся полночные обедни, на которых спирает дух от курений, здесь есть священники с тринадцатью крестами на клобуках, означающими Христа и апостолов, здесь между общинами порой разгораются войны, католики враждуют с сирийцами, и *все* согласны, что несториане не имеют никакого отношения к христианству, и каждая из соперничающих конфессий готовится к своему Рождеству. В доме на острове Кабрал правит Римский папа. Рождественского дерева тут не ставят, зато есть ясли. Иосиф смахивает на плотника из Эрнаукулама, Мария – на сборщицу чая, из скота – только буйволы, и цвет кожи у Святого Семейства – ух ты! – довольно темный. Подарков не полагается. По убеждению Эпифании да Гамы Рождество должно быть посвящено Иисусу. Подарки – даже в этом, мягко говоря, недружном семействе происходит обмен подношениями – дарятся на Крещение, в праздник золотого благовонного мира. В *этот* дом никто не влезает через каминную трубу...)

Дойдя до площадки главной лестницы, Аурора увидела, что дверь домашней церкви отворена; горевший в ней свет, словно маленькое золотое солнце, разгонял тьму лестничного колодца. Аурора подкралась поближе, заглянула внутрь. У престола на коленях стояла маленькая фигура в черной кружевной мантилье, покрывавшей голову и плечи. Аурора услышала легкое постукивание рубиновых четок Эпифании. Не желая попадаться бабушке на глаза, Аурора двинулась было обратно, как вдруг в полной тишине Эпифания Менезиш да Гама завалилась набок и осталась лежать.

“Когда-нибудь ты мне сердце погубишь”.

“Ничего, потерпим. Придет мое времечко”.

И как же приблизилась Аурора к лежащей бабушке? Подбежала ли она к ней стремглав, как любящая внучка, поднесла ли дрожащую руку к ее губам?

Она приблизилась медленно, непрямым путем, двигаясь вдоль стены, подкрадываясь к неподвижному телу осторожными шагами.

³³ О елка (нем.) – слова из рождественской песни.

Закричала ли она, ударила ли в гонг (в церкви он был), призвала ли как-либо иначе людей на помощь?

Ничего подобного она не сделала.

Может быть, в этом уже не было смысла; может быть, стало совершенно ясно, что Эпифании ничем не помочь, что ее настигла милосердная мгновенная смерть?

Подойдя к Эпифании, Аурора увидела, что ее пальцы все еще вяло перебирают четки; что глаза старой женщины открыты и она узнала внучку; что губы бабушки слабо шевелятся, не выговаривая ничего членораздельного.

И, увидев, что бабушка еще жива, сделала ли она что-нибудь ради спасения ее жизни?

Она замерла.

А потом? Ведь, само собой, она была еще девочка; паника могла вызвать у нее минутный столбняк, это простительно, но, придя в себя, она, конечно, немедленно позвала на помощь домашних... неужели нет?

Придя в себя, она отступила на два шага назад; потом села на пол, скрестив ноги; и стала смотреть.

И она не почувствовала ни жалости, ни стыда, ни страха?

Она была озабочена – это да. Если приступ у Эпифании окажется несмертельным, тогда ее поведение сочтут предосудительным; даже отец разгневется. Она это знала.

И более ничего?

Она боялась, что ее увидят; поэтому она пошла и закрыла дверь церкви.

Почему тогда не пойти до конца? Почему не задуть свечи и не выключить электричество?

Все надо было оставить, как оставила Эпифания.

Значит, хладнокровное убийство. Все было рассчитано.

Если бездействие можно приравнять к убийству, то да. Если сердечный приступ Эпифании был столь серьезен, что ее оказалось невозможно спасти, то нет. Спорный случай.

Эпифания умерла?

Спустя час ее губы в последний раз зашевелились, глаза вновь обратились на внучку. Поднеся ухо к умирающему рту, Аурора услышала бабушкино проклятие.

И что же убийца? Или, справедливости ради, – та, которая, возможно, была убийцей?

Оставила дверь церкви широко открытой, как раньше, и отправилась спать...

...Но ведь не могла же она...

...и заснула безмятежным сном младенца. И проснулась рождественским утром.

Нелицеприятная правда состоит в том, что смерть Эпифании отозвалась прибавлением жизни. Какой-то давно изгнанный дух – может быть, радости – вернулся на остров Кабрал. Изменилось само освещение, словно из воздуха убрали некий фильтр; заиграли свежие краски, все как будто переродилось. В новом году садовники дивились бурному росту насаждений и малому количеству вредителей, и даже абсолютно равнодушные к растительным красотам глаза останавливались на величественных каскадах бугенвиллеи, даже наименее чувствительные носы ощущали победную мощь жасмина, ландыша, орхидей и цветов декоративного кактуса. Казалось, гудящее возбуждение, предвкушение нового передается и старому дому; горечь и затхлость ушли из его дворов. Даже бульдог Джавахарлал помягчел нравом в новую эпоху.

Гостей стало едва ли не столько же, сколько в лучшие дни Франшику. Молодые люди приезжали на больших лодках, чтобы поглазеть на Комнату Ауроры и провести вечер в уцелевшем доме Корбюзье, который с юношеским рвением они быстро привели в порядок; вновь на острове заиграла музыка, вновь зазвучали модные танцевальные мелодии. Даже Кармен да Гама, моя двоюродная бабушка Сахара, вошла во вкус и под предлогом присмотра за молодежью постоянно присутствовала на этих сборищах; в конце концов она уступила уговорам одного красивого юноши и, ворча и отдуваясь, но неожиданно гибко и ловко прошла с ним

в танце. Оказалось, что у нее есть чувство ритма, и в последующие вечера, когда приятели Ауроры выстраивались в очередь, чтобы пригласить Кармен, можно было видеть, как госпожа Айриш да Гама утрачивает старообразность, как она распрямляется, как ее глаза перестают косить и затравленное выражение уступает в них место робкой радости. Ей ведь еще и тридцати пяти не исполнилось, и впервые за целую вечность она выглядела моложе своих лет.

Когда Кармен начала танцевать шимми, Айриш стал поглядывать на нее с неким подобием интереса и наконец сказал:

– Может, пора и нам, взрослым, наприглашать гостей, чтобы тебе было перед кем чуток пофорсить.

Это были самые добрые слова, какие Кармен от него слышала за всю жизнь, и последующие недели она провела в безумном вихре пригласительных билетов, китайских фонариков, меню, длинных столов – вихре, переходившем в смертельно-сладкую агонию, когда она задумывалась, что надеть. В назначенный вечер на главной лужайке играл оркестр, а в бельведере домика Корбюзье – патефон, и катер привез много женщин в брильянтах и элегантных мужчин с белыми галстуками, и если иные глаза со значением вглядывались в глаза Айриша, то Кармен в этот день дней не была расположена замечать слишком много.

Лишь одного члена семьи не коснулось всеобщее оживление: в самый разгар бала на острове Кабрал ни о чем другом не мог думать Камоинш, кроме Беллы, чья красота в такой великолепный вечер затмила бы и сами звезды. Любовные отметины перестали появляться у него на теле, и теперь, когда он не мог больше цепляться за сумасшедшую надежду на ее возвращение из-за грани могилы, ослабла какая-то нить, связывавшая его с жизнью; в иные дни он даже не мог смотреть на собственную дочь, в которой слишком сильно ощущалось присутствие матери. Он как бы гневался на нее за то, что она обладает Беллой настолько, насколько ему никогда уже не обладать.

Он стоял на пристани один, держа в руке стакан с гранатовым соком. Молодая женщина, изрядно выпившая, с черными завитыми волосами и ярко-алой губной помадой, в пышном платье с буфами подошла к нему не вполне твердой походкой.

– Белоснежка! – представилась она с долей развязности. Камоинш, мысли которого были далеко, не нашелся с ответом.

– Да вы что, кинокартину не видели? – разочарованно протянула женщина. – Наконец-то идет, столько ждали, я ее, наверно, уже раз десять посмотрела. – Она показала на свое платье. – Как в фильме, не отличить! Я портному велела – чтобы в точности. Хотите, всех гномов назову? – И, не дожидаясь ответа: – Чихунсонявесельчакпростакворчунтихонялекарь. А вы кто из них будете?

Несчастный Камоинш не знал, что говорить, и просто покачал головой. Но игривую Белоснежку его молчание не обескуражило.

– Не Чихун, не Весельчак, не Лекарь, – сказала она. – Значит, Соняпростакворчунтихоня – кто? Раз вы не сознаетесь, начинаю угадывать. Соня – нет, Простак – не думаю, Ворчун – может быть, но Тихоня – точно. Не робей, Тихоня! Насвистывай за работой!

– Мисс, – предпринял попытку Камоинш, – может быть, вам вернуться к другим гостям? Мне, честно сказать, хочется побыть одному.

Белоснежка нахмурилась.

– Мистер Камоинш да Гама, важная птица из тюремной клетки, – отчеканила она. – Не может поддержать разговор с дамой, все горюет по умершей жenuшке, хотя с ней половина города переспала, богач-бедняк-принц-нищий. О господи, да что я говорю, не надо было, наверно...

Она повернулась, чтобы уйти, но Камоинш схватил ее за руку выше локтя.

– Вы что, пустите, синяк будет! – закричала Белоснежка. Но взгляд Камоинша был недвусмысленно требователен. – Я вас боюсь, – сказала она, пытаясь высвободить руку. – Ополо-

умели вы, что ли? Или пьяный? Да, наверно, пьяный. Ладно. Жаль, проговорила я, но ведь все-все-все знают, так что и без меня это до вас бы дошло рано или поздно. А теперь хватит, хорошенького понемножку, вы, оказывается, не Тихоня, а самый настоящий Ворчун, и пойду-ка я поищу себе другого гнома.

На следующее утро к Белоснежке, которая мучилась головной болью, заявили двое полицейских и попросили ее пересказать приведенный выше разговор.

– Не понимаю, что вас интересует, я ушла, он остался на пристани, все, конец, говорить больше не о чем.

Она была последней, кто видел моего дедушку живым.

Вода нас забирает. Она забрала Франсишку и Камоинша, отца и сына. Оба погрузились в черную зеркальную гладь ночной гавани и поплыли в морскую материнскую необъятность. Течение подхватило их и унесло.

6

В августе 1939 года Аурора да Гама увидела, что торговое судно “Марко Поло” все еще стоит на якоре в кочинской гавани, и, сочтя это признаком вопиющей халатности дядюшки Айриша, выпустившего из равнодушных рук бразды правления в переходный период между смертью ее родителей и ее собственным полноправным появлением на сцене, пришла в неопи-суемый гнев. Она велела шоферу пулей везти ее в эрнакуламский порт, к складу № 1 частного торгового дома с ограниченной ответственностью “К-50” и вихрем ворвалась в это пещеро-подобное хранилище; там на мгновение остановилась, смущенная прохладным, пронизанным лучами света сумраком, обескураженная кощунственным величием уставленного джутовыми мешками собора, где запахи пачулевого масла, гвоздики, куркумы и фенугрека, тмина и кар-дамона витали в воздухе, словно воспоминания о хоралах, и узкие проходы между нагроможд-ениями готовой к экспорту продукции вели то ли в ад и обратно, то ли к спасению души.

(Великое родословное древо – из малого зернышка; не закономерно ли, что моя личная история, история сотворения Мораиша Зогойби, берет начало в задержанной партии перца?)

В этом соборе были и священнослужители: экспедиторы, поминутно сверяясь с прикреп-ленными к дощечкам бумагами, озабоченно сновали среди кули, нагружающих свои тележки; над ними всеми возвышалась троица жутко изможденных контролеров – господин Перчандал, господин Тминсвами и господин Чиликарри, восседавшие, подобно инквизиторам, на высо-ких табуретах в зловещих нимбах ламп и царапавшие гусиными перьями в гигантских гросс-бухах, что лежали перед ними на наклонных столах с журавлиными ножками-ходулями. Ниже этих величественных персонажей за обычным письменным столом с маленькой лампой сидел дежурный складской управляющий, на которого и спикировала Аурора, оправившись от нере-шительности и требуя объяснить, почему задержана отправка судна.

– О чем там дядя себе думает? – кричала она, и это было довольно глупо, ибо откуда мог столь ничтожный червь знать, что на уме у самого господина Айриша да Гамы? – Он что, утопить хочет наше семейное состояние?

Увидев столь близко от себя самую красивую из всех представительниц рода да Гама и единственную наследницу его несметных богатств – ведь всем было известно, что господин Айриш и госпожа Кармен хозяйничают только до поры до времени, а покойный господин Камо-инш оставил им не более чем содержание, хотя и щедрое, – складской управляющий был пора-жен словно ударом копья в самое сердце и временно онемел. Юная владычица наклонилась к нему еще ближе, зажала его подбородок между большим и указательным пальцами, пронзила управляющего самым что ни на есть негодующим взглядом – и по уши влюбилась. К тому времени, как он, совершенно ошеломленный, справившись кое-как с приступом застенчиво-сти, пробормотал с запинкой, что между Англией и Германией объявлена война и поэтому капитан “Марко Поло” отказывается плыть в Англию – “Видите ли, возможны нападения на торговые суда”, – Аурора поняла, немало злясь на свои предательские чувства, что по причине нелепой и неуместной страсти ей придется бросить вызов правилам и обычаям своего класса и немедленно выйти замуж за этого состоящего на службе у семьи не слишком речистого кра-савца. “Все равно что выйти за грязного шоферюгу”, – кляла она себя в блаженном отчаянии и, погрузившись с головой в сладкий ужас своего положения, не сразу увидела на столе управ-ляющего деревянную табличку с именем и фамилией.

– О господи, позор-то какой! – вырвалось у нее, когда белые буквы впечатались наконец в ее сознание. – Мало мне позора, что у него в кармане пусто и язык не ворочается, так он еще

и еврей впридачу. – После паузы, в сторону: – Вот так, Аурора. Чем дело-то пахнет. Втюрилась в Моисея, в поганца косноязычного³⁴.

Белые буквы таблички педантично поправили ее (предмет ее внимания, у которого голова шла кругом, во рту пересохло, сердце бухало, в ушах шумело и в паху разгорался огонь, был неспособен это сделать, вновь лишившись дара речи из-за нарастания чувств, обычно не поощряемых в служащих семейных фирм); дежурного управляющего Зогайби звали не Моисей, а Авраам. Если верно, что имя определяет судьбу, то шесть крупных букв говорили о том, что ему не суждено сокрушить фараона, дать народу заповеди и разделить воды морские; не его удел – вести кого-либо в землю обетованную. Вместо этого он возложит родного сына на алтарь свирепой любви.

А “Зогайби”?

“Неудачник” по-арабски – так, по крайней мере, утверждает свечной фабрикант Моше Коген и гласит предание в материнской ветви семьи Авраама. При этом, однако, никто в роду ни в малейшей степени не знал этого заморского языка. Даже подумать такое было грешно. “Ты только погляди, как они пишут, – сказала раз Аврааму его мать Флори. – Точно ножами колют и полосуют, даже тут одно зверство. Правда, мы тоже потомки воинов. Может, поэтому к нам и прилипло чужое андалусское прозвание”.

(Вы хотите спросить: если это фамилия матери, почему же сын?.. Отвечаю: не гоните, пожалуйста, лошадей.)

“Ты ей в отцы годишься”. Авраам Зогайби, рожденный в том же году, что и покойный Камоинш, стоял, весь напряженный, у отделанной внутри голубой плиткой кочинской синагоги (*Плитки из Кантона. Нет двух одинаковых*, – гласила надпись под образчиком на стене прихожей), источая сильный запах специй и кое-чего еще, и готовился защищаться от материнского гнева. Старая Флори Зогайби в выцветшем зеленом миткалевом платье, облизывая десны, слушала сбивчивый рассказ сына о запретной любви. Своей палкой она провела на земле черту. По одну сторону синагога, Флори, история; по другую Авраам, его богатая девица, Вселенная, будущее – всё вещи нечистые. Закрыв глаза, отвлекшись от Аврамова бормотанья и запаха, она вызвала в памяти прошлое, предвосхищая момент, когда ей придется отречься от единственного сына, потому что не случилось еще такого, чтобы кочинский еврей женился на язычнице; ведь помимо ее собственной памяти, глубже и дальше, была долгая память племени... индийские “белые евреи”, сефарды из Палестины, появились в большом числе (приблизительно десять тысяч) в 72 году нашей эры, спасаясь от преследования римлян. Обосновавшись в Крангануре, они шли в наемные войска к местным раджам. Однажды битву между правителем Кочина и “владыкой морей” – каликутским князем пришлось отложить из-за того, что еврейские воины не могли сражаться в субботу.

О благая община! Она процветала. Затем, в 379 году нашей эры, царь Бхаскара Рави Варман I дал Иосифу Раббану во владение деревню Анджуваннам близ Кранганура. Медные таблички, на которых был увековечен этот дар, в конце концов оказались в облицованной плиткой синагоге, в ведении Флори, ибо в течение многих лет, вопреки обычаю, она, женщина, исполняла там почетную должность смотрительницы. Таблички хранились в ящике под алтарем, и время от времени она их доставала и полировала с превеликим тщанием, покрывая слоем собственного пота.

– Мало того, что христовка, так тебе из них самую такую-растакую надо было выбрать, – бормотала Флори.

Но взор ее все еще блуждал в далеком прошлом, перед ним возникали еврейские насаждения ореха кешью, арековой пальмы и хлебного дерева, древние колышущиеся поля

³⁴ Библейский Моисей, когда его устами не говорил Бог, был косноязычен.

еврейского рапса, сбор еврейского кардамона – ведь разве не это было основой процветания общины?

– Теперь эти поздние пташки захватывают наш бизнес, – бубнила она. – Невесть как гордятся из-за того, что они чьи-то там выbledки. Фиц-Васко-да-Гама³⁵! По мне, так ничуть не лучше, чем шайка мавров.

Если бы Авраам не был так охвачен любовью, если бы удар грома не был таким внезапным, он, по всей вероятности, придержал бы язык из сыновнего почтения, зная к тому же, что Флори с ее предрассудками ему не переспорить.

– Я слишком по-нынешнему тебя воспитала, – продолжала она. – Христиане да мавры, подумать только. Пришли, значит, по твою душу.

Но Авраам был влюблен и поэтому не стал терпеть нападков на свою любимую.

– Во-первых, если по справедливости, то и ты такая же поздняя пташка, – имея в виду, что задолго до “белых евреев” в Индии появились “черные”, бежавшие из Иерусалима от полчищ Навуходоносора в 587 году до нашей эры, и даже если не принимать их в расчет, поскольку они давным-давно смешались с местным населением и исчезли, были еще, например, евреи, которые пришли из Вавилона и Персии в 490–518 годах нашей эры, и много столетий протекло с тех пор, как евреи стали селиться сначала в Крангануре, а затем и в Кочине (общеизвестно, что некий Иосиф Азаар с семьей перебрался туда в 1344 году), а потом они стали приезжать из Испании после изгнания в 1492 году, и в числе первых – предки Соломона Кастиля...

Услыхав это имя, Флори Зогойби вскрикнула; вскрикнула и мотнула головой.

– Соломон, Соломон, Кастиль, Кастиль, – с детским злорадством принялся ее дразнить тридцатишестилетний сын. – От которого произошел, по крайней мере, один *инфант Кастильский*. Что, будем родословную вспоминать? Начиная с сеньора Леона Кастиля, оружейника из Толедо, потерявшего голову из-за некой испанской аристократки со слоном и башней на гербе³⁶, и кончая моим папашей Соломоном, который тоже, конечно, был ненормальный, но самое главное то, что Кастили приехали в Кочин на двадцать два года раньше, чем Зогойби, *quod erat demonstrandum*³⁷... А во-вторых, евреям с арабскими фамилиями и семейными тайнами надо бы поосторожней со словом “мавр”.

На сумрачной еврейской улочке, куда выходит синагога в Маттанчери, стали появляться, чтобы с важным видом понаблюдать за ссорой, пожилые мужчины в закатанных брюках и женщины с пучками седеющих волос. Над рассерженной матерью и не дающим себя в обиду сыном стали распахиваться голубые ставни, и в окнах возникли головы. Рядом на еврейском кладбище камни с надписями на древнем языке реяли в сумерках, как приспущенные флаги. В вечернем воздухе висели запахи рыбы и специй. Флори Зогойби, услышав о тайнах, которых она никогда никому не открывала, стала заикаться и дергаться.

– Проклятье всем маврам! – заголосила она, когда немного пришла в себя. – Кто разрушил кранганурскую синагогу? Мавры, кто же еще. Местные Отелло, нашего кустарного производства. Чума на них с их домами и женами!

В 1524 году, через десять лет после приезда Зогойби из Испании, в этих краях произошла мусульмано-еврейская война. Дела, разумеется, весьма давние, и Флори вспомнила о них только для того, чтобы увести разговор от семейных секретов. Но проклятье – вещь серьезная, особенно при свидетелях. Оно вспорхнуло в воздух, как перепуганная курица, и довольно долго в нем трепыхалось, словно не зная, на кого опуститься. Мораиш Зогойби, внук Флори, родится только через восемнадцать лет; тогда-то курочка и найдет свой насест.

³⁵ Частица “Фиц”, восходящая к французскому fils (сын), входит в состав многих английских фамилий.

³⁶ Одно из значений испанского слова castillo – геральдическая башня на слоне.

³⁷ Что и требовалось доказать (*лат.*).

(А что же, интересно, не поделили мусульмане и евреи в шестнадцатом веке? Торговлю перцем, конечно.)

– Евреи с маврами бились-бились, – бурчала старая Флори, чувствуя, что в беде своей сказала лишнее, – а потом пришли твои христианские Фиц-Васко и хапнули рынок у тех и у других.

– Уж ты-то молчала бы насчет незаконных детей! – крикнул Авраам Зогойби, который носил фамилию матери. – Фиц, видишь ли, – сказал он, обращаясь к собравшейся толпе. – Я ей покажу “Фиц”!

С этими словами, полный яростной решимости, он ринулся в синагогу; мать с визгливым сухим плачем заковыляла вслед.

Два слова о моей бабушке Флори Зогойби, которая была ровесницей и полной противоположностью Эпифании да Гама, но стояла ближе ко мне на целое поколение: за десять лет до конца века “бесстрашная Флори” постоянно околачивалась у игровой площадки школы для мальчиков, где она дразнила подростков шелестом юбок и рифмованными насмешками, а порой брала ветку и проводила по земле черту – *попробуй переступи*. (Рисование линий, видно, у меня в роду и с материнской, и с отцовской стороны.) Она бесила их жуткими и бессмысленными заклинаниями, как заправская ведьма:

Фокус-покус, райский сад,
Птичий потрох, пошел в ад.
Дунул, плюнул, раз-два-три,
Топни, хлопни и умри.

Когда мальчики подступали к ней, она кидалась на них с такой яростью, что легко брала верх, несмотря на их преимущество в силе и росте. От какого-то неизвестного предка она унаследовала явные бойцовские задатки, и как ни хватили противники ее за волосы, как ни обзывали грязной еврейкой, совладать с ней им не удалось ни разу. Иногда она в буквальном смысле тыкала их носом в грязь. А иногда просто стояла, расправив плечи, торжествуя скрестив на груди худые руки и наблюдая, как ошеломленные жертвы неверными шагами пятятся прочь. “В другой раз подбери кого-нибудь себе по росту”, – добавляла Флори к рукоприкладству словесное оскорбление, или: “Мы евреечки-малявочки, тронешь – обожжешься”. Да, она всячески измывалась над ними, но даже подобные попытки увенчать победу метафорой, представить себя защитницей маленьких, меньшинства, *девочек* – даже они не сделали ее популярной. “Бешеная Флори”, “Флори-горе” – вот и вся ее “репутация”.

Пришло время, когда никто уже не переступал пугающе-аккуратных линий, которые она продолжала проводить через ухабы и пустоши своего детства. Она стала задумываться и уходить в себя, подолгу сидела за проведенной ею пыльной чертой, как бы затворившись в некоей воображаемой крепости. К восемнадцати годам она перестала драться, поняв кое-что о выигранных сражениях и проигранных войнах.

А веду я к тому, что в представлении Флори христиане украли у нее отнюдь не только древние плантации пряностей. То, чего они ее лишили, уже тогда было в дефиците, а для девушки с “репутацией” – и подавно... Когда ей исполнилось двадцать четыре, синагогальный смотритель Соломон Кастиль переступил проведенную мисс Флори черту, чтобы попросить ее руки. По всеобщему мнению, это была либо величайшая милость, либо величайшая глупость, либо и то и другое вместе. В те годы численность общины уже уменьшалась. Еврейское население Магтанчери насчитывало всего, может быть, четыре тысячи человек, а если исключить семейных, да маленьких, да стариков, да больных, да увечных, то получается, что молодежь брачного возраста не была особенно свободна в выборе женихов и невест. Старые холостяки

обмахивались веерами у башни с часами и гуляли по набережной, держась за руки; беззубые старые девы сидели на скамеечках у дверей и шили распашонки для неродившихся младенцев. Свадьба давала повод скорей для завистливых толков, чем для веселья; брак Флори и смотрителя молва объяснила их обоюдным уродством. “Как смертный грех, – говорили острые языки. – Детишек будущих жалко”.

(Ты ей в отцы годишься, кричала Флори Аврааму; но Соломон Кастиль, родившийся в год индийского восстания, был старше ее на двадцать лет, бедняга, должно быть, просто спешил жениться, пока он еще в силе, чесали языками сплетники... И еще по поводу их свадьбы. Она произошла в 1900 году, в тот же день, что и гораздо более заметное событие; ни одна газета не упомянула в колонке светской хроники о бракосочетании Кастиля и Зогойби, но все поместили фотографии господина Франшишку да Гамы и его улыбающейся невесты из Мангалуру.)

Мстительность одиночек была в конце концов вознаграждена: спустя семь лет и семь дней бурной семейной жизни, в течение которых Флори родила единственного ребенка, мальчика, выросшего вопреки всякой логике в самого красивого молодого человека редющей общины, поздно вечером в день своего пятидесятилетия смотритель Кастиль вышел на пристань, прыгнул в шлюпку, где сидело с полдюжины пьяных матросов-португальцев, и отправился в плавание. “Надо было думать прежде, чем брать в жены Флори-горе, – удовлетворенно перешептывались старые девы и холостяки, но мудрое имя не означает, что у тебя обязательно мудрые мозги”. Этот неудачный брак стали называть в Маттанчери “глупостью Соломоновой”; но Флори винила христианских моряков, всю эту купеческую армаду всемогущего Запада, в том, что она сманила ее мужа на поиски земного рая. И в возрасте семи лет ее сыну пришлось расстаться с несчастливой фамилией отца и взять себе столь же несчастливую материнскую – Зогойби.

После исчезновения Соломона Флори сделалась хранительницей голубых керамических плиток и медных табличек Иосифа Раббана, потребовав себе должность смотрительницы с такой пламенной яростью, что в ней потонул робкий ропот несогласных. Хранительница, защитница; не только маленького Авраама, но и пергаментного Ветхого Завета с истертыми страницами, по которым бежали строки еврейских букв, и полый золотой короны, дарованной общине в 1805 году траванкурским махараджей. Она ввела новшества. Евреев, приходивших молиться, она заставляла снимать обувь. Это явно мавританское правило вызвало много возражений; Флори отвечала на них горьким лающим смехом.

– Где почтение? – вскидывалась она. – Наняли меня беречь добро, так будьте бережней сами. Обувь долой! Быстро! Не смейте пачкать китайские плитки.

Нет двух одинаковых. Плитками из Кантона, приблизительно 12 на 12 дюймов, приобретенными в 1100 году Эзекилем Раби, были облицованы пол, стены и потолок маленькой синагоги. Им приписывали магические свойства. Говорили, что, если достаточно долго их рассматривать, можно найти среди бело-голубых квадратов историю своей жизни, потому что от поколения к поколению рисунки на плитках меняются, отображая события, происходящие среди кочинских евреев. Другие уверяли, что эти рисунки – пророчества, ключ к пониманию которых был за прошедшие годы утрачен.

Мальчиком Авраам вдоволь напользался на четвереньках по полу синагоги, чуть не тыкаясь носом в голубизну плиток из Древнего Китая. Он утаил от матери, что через год после бегства отец возник, воплощенный в керамике, на синагогальном полу в маленькой голубой шлюпке в компании голубокожих типов заграничного вида – они держали путь к столь же голубому горизонту. После этого открытия Авраам периодически получал от услужливо-изменчивых плиток новости о судьбе Соломона Кастиля. В другой раз он увидел отца в небесно-голубой сцене дионисийского веселья под традиционной ивой среди убитых драконов и огнедышащих вулканов. Соломон танцевал в шестиугольной беседке с беззаботно-счастливым выражением на керамическом лице – выражением, не имевшем ничего общего со скорбной миной, которую

Авраам прекрасно помнил. Если отец счастлив, думал мальчик, то хорошо, что он уехал. С раннего детства Авраам инстинктивно пестовал в себе представление о главенстве счастья, и этот-то инстинкт повелел потом взрослому дежурному управляющему принять любовный дар, предложенный ему краснеющей и иронизирующей Ауророй да Гамой в камере-обскуре эрнакуламского склада...

По прошествии лет Авраам увидел на одной из плиток отца богатым и толстым, сидящим на подушках в позе царственного спокойствия в окружении подобострастных евнухов и юных танцовщиц; но всего через несколько месяцев другой двенадцатидюймовый “кадр” запечатлел его тощим оборванцем. И Авраам понял, что бывший синагогальный зритель оторвал все ограничения, развязал все путы, добровольно пустившись в плавание по кидающим то вверх, то вниз бешеным валам жизни. Он стал Синдбадом, ищущим счастья в коловращении земли и воды. Он стал небесным телом, которое смогло усилием собственной воли сойти с предначертанной орбиты и унести сквозь галактики, заранее принимая все, что там может случиться. Аврааму казалось, что на преодоление гравитационных сил обыденности отец потратил весь свой запас волевой энергии и теперь, после первого и решительного преображения, он плывет без руля и ветрил, повинуюсь волнам и приливам.

Когда Авраам Зогойби стал подростком, Соломон Кастиль начал появляться на полупорнографических изображениях, которые, заметь их кто-то еще, вряд ли были бы сочтены уместными в доме молитвы. Эти плитки обнаруживались в самых темных и пыльных углах помещения, и Авраам оберегал их от посторонних глаз, позволяя плесени и паутине скапливаться на них, покрывая самые непристойные места, где отец совокуплялся с немалым числом личностей обоего пола и разнообразного вида в такой манере, что любопытствующему сыну картинки представлялись не чем иным, как учебным материалом. Но даже в самый разгар похабной гимнастики стареющий странник теперь снова был мрачен, как в прежние годы, так что после всех скитаний его, выходит, вынесло на тот же берег тоски, откуда он пустился в путь. В день, когда у Авраама Зогойби сломался голос, у юноши вдруг возникло чувство, что отец возвращается. Он побегал по улочкам еврейского квартала к морскому берегу, где висели высоко вздернутые для просушки сети рыбаков-китайцев; но рыба, которую он хотел поймать, из воды не выпрыгнула. Уныло приплетясь в синагогу, он увидел, что на всех плитках, изображавших отцовскую одиссею, теперь другие картинки – банальные и безличные. Придя в лихорадочную ярость, Авраам часами ползал по полу, выискивая остатки чудес. Без толку – его непутевый отец вторично канул, растворился без следа в плиточной голубизне.

Не помню, когда я в первый раз услышал семейную историю, которой я обязан своим прозвищем, а моя мать – темой для своих знаменитых “мавров”, цикла картин, получившего триумфальное завершение в неоконченном и впоследствии украденном шедевре “Прощальный вздох мавра”. Я словно знал ее всю жизнь, эту пылко-мрачную сагу, которая, добавлю, дала господину Васко Миранде тему для одной его ранней работы; но, несмотря на изначальное знание, я серьезно сомневаюсь в буквальной достоверности истории: уж слишком она прихотлива, уж слишком отдает перченой бомбейской байкой, уж слишком отчаянно озирается вспять в поисках опоры, *подтверждения*... Я думаю – и другие со мной соглашались, – что можно дать более простые объяснения и сделке между Авраамом Зогойби и его матерью, и в особенности случившейся якобы находке в старинном ларце под алтарем; ниже я приведу одну такую альтернативную версию. Но сейчас я излагаю одобренную и отшлифованную семейную легенду, которая, будучи весьма важной частью созданного моими родителями образа самих себя, а также существенным элементом истории современного индийского искусства, хотя бы по этим причинам существенна и весома, чего я не собираюсь оспаривать.

Мы достигли ключевого момента нашей истории. Вернемся ненадолго к юному Аврааму, стоящему на четвереньках, судорожно осматривающему пол синагоги в поисках отца, который

только что бросил его во второй раз, зовущему его надтреснутым голосом, то соловьиным, то вороньим; и, наконец, нарушая запрет, он впервые в жизни осмелился приподнять голубую ткань с золотой каймой, укрывающую высокий алтарь... Соломона Кастиля там не было; вместо него фонарик подростка осветил старый сундучок, помеченный буквой “З”, с дешевым висячим замком, который очень скоро был открыт, – ведь школьники обладают многими талантами, которые они во взрослой жизни утрачивают наряду со всей вы зубренной на уроках белибердой. Вот так, сокрушаясь из-за беглого отца, он неожиданно раскрыл секрет матери.

Хотите знать, что было в сундучке? Единственное сокровище, достойное этого имени: прошлое плюс будущее. Еще, впрочем, изумруды.

И вот настал решительный миг, когда взрослый Авраам Зогайби с криком *Я ей покажу “Фиц”!* ворвался в синагогу и вытащил ларец из потайного места. Мать, ковлявшая след, поняла, что тайное становится явным, и почувствовала слабость в ногах. С глухим стуком она осела на голубые плитки, а Авраам тем временем откинул крышку и извлек серебряный кинжал, который тут же засунул за пояс; потом, часто и судорожно дыша, Флори увидела, как он достает и возлагает себе на голову ветхую старинную корону.

Нет, не золотой венец девятнадцатого века, дарованный траванкурским махараджей, а нечто гораздо более древнее – так, во всяком случае, мне рассказывали. Темно-зеленый тюрбан из ткани, ставшей от возраста почти иллюзорной, – столь непрочной, что казалось, будто проникающий в синагогу оранжевый свет заката для нее слишком груб, будто она вот-вот истлеет под огненным взором Флори Зогайби...

И с этого невообразимого тюрбана, гласила семейная легенда, свисали потемневшие от времени цепи из чистого золота, а на цепях красовались такие крупные и такие зеленые изумруды, что они казались искусственными. *Эта корона четыре с половиной столетия назад упала с головы последнего властителя аль-Андалуса; она – не что иное, как корона Гранады, которую носил Абу Абдалла, последний из Насридов, известный под именем Боабдил.*

– Но как она туда попала? – спрашивал я отца.

Действительно, как? Этот бесценный головной убор мавританских монархов – как он оказался в сундуке у беззубой старухи, чтобы потом увенчать голову Авраама, еврея-отступника, моего будущего отца?

– Это, – отвечал отец, – было сокровище срамоты.

Не буду пока что оспаривать его версию событий. Итак, когда Авраам Зогайби подростком в первый раз обнаружил спрятанную корону и кинжал, он положил драгоценные вещи обратно в тайник, тщательно запер замок и всю ночь, весь следующий день трясся от страха перед материнским гневом. Но когда стало ясно, что его проступок не возымел последствий, в нем опять выиграло любопытство, и он снова выдвинул сундучок и отпер замок. На этот раз рядом с тюрбаном он нашел завернутую в мешковину маленькую рукописную книжицу в кожаном переплете с грубо сшитыми пергаментными страницами. Испанского языка, на котором она была написана, юный Авраам не знал, но он скопировал оттуда несколько имен и в течение последующих лет понял их смысл – главным образом благодаря тому, что задавал якобы невинные вопросы брюзгливому и нелюдимому старому свечному фабриканту Моше Когену, который в то время был признанным главой общины и хранителем ее преданий. Старый Коген был настолько потрясен тем, что молодой человек проявляет интерес к старине, что у него развязался язык и он пустился в рассказы о былом; сидевший у его ног красивый юноша жадно ловил каждое слово.

Так Авраам узнал, что в январе 1492 года под удивленным и презрительным взором Христофора Колумба гранадский султан Боабдил отдал ключи от крепости-дворца Альгамбры, последнего и величайшего из мавританских укреплений, всепобеждающим католическим монархам Фердинанду и Изабелле, отказавшись от власти без боя. Он отправился в изгнание

с матерью и слугами, подведя черту под столетиями существования мавританской Испании; и, придержав коня на Слезном холме, он оглянулся, чтобы бросить последний взгляд на утраченное, на дворец и плодородные долины, на угасающее великолепие аль-Андалуса... взглянув на все это, султан вздохнул и горько заплакал, но Айша Добродетельная, его неукротимая мать, жестоко высмеяла сына. Вынужденный ранее преклонить колени перед всевластной королевой Изабеллой, Боабдил теперь был унижен безвластной, но по-прежнему грозной вдовой. *Плачь же, как женщина, над тем, чего ты не умел защитить как мужчина*, – презрительно сказала она, имея в виду, конечно, другое. Что в отличие от этого хнычущего мужчины она, женщина, будь у нее возможность, встала бы за свое достоинство насмерть. Она была бы достойной противницей королевы Изабеллы, которой повезло, что пришлось иметь дело с несчастным плаксою Боабдилом...

Слушая свечного фабриканта, Авраам, примостившийся на бухте каната, вдруг почувствовал горе низложенного Боабдила, почувствовал как свое собственное. Воздух вылетел из его груди с присвистом, а последующий вдох был судорожным. Предвестник астмы (опять астма! Удивительно, что я вообще способен дышать!) стал символом, знаком связи между людьми через пропасть веков – так, во всяком случае, думал взрослеющий Авраам, ощущая, как болезнь в нем набирает силу. *Эти свистящие вздохи не только мои, но и его тоже. В моих глазах вскипает его древнее горе. Боабдил, я тоже сын твоей матери.*

Действительно ли плач – такая уж слабость? Действительно ли оборона до последнего – такая уж доблесть?

Отдав ключи от Альгамбры, Боабдил укрылся на юге. Католические монархи предоставили ему поместье, но даже его продал у него за спиной приближенный, которому он доверял как себе. Властелин превратился в шута. Он кончил жизнь в бою, сражаясь под флагом какого-то мелкого правителя.

Евреи тоже в 1492 году двинулись на юг. Корабли, увозящие гонимых евреев, запрудили Кадисскую гавань, вынудив другого путешественника, Колумба, отплыть из Палоса. Евреи перестали ковать толедскую сталь; Кастили отправились в Индию. Но не все евреи уехали в одно время. Зогойби, припомним, отстали от Кастилей на двадцать два года. Что произошло? Где они прятались?

– Не торопись, сынок; всему свое время.

Молодой Авраам научился скрытности от матери и к изрядному неудовольствию маленькой группы потенциальных невест жил сам по себе, проводил время главным образом в деловой части города, а в еврейском квартале, и особенно в синагоге, старался бывать как можно реже. Он работал сначала у Моше Когена, затем поступил к да Гамам помощником клерка, и хотя он был исполнительным работником и быстро начал продвигаться по службе, что-то в его облике говорило об иных возможностях, и благодаря его отрешенной красоте ему нередко прочили будущность гения, возможно – того самого великого поэта, о котором кочинское еврейство всегда мечтало и которого никак не могло произвести на свет. Источником большинства этих умозрительных предвосхищений была Сара, крупная телом и довольно волосатая племянница Моше Когена, ожидавшая, подобно неоткрытому субконтиненту, когда же, наконец, Авраамово судно войдет в ее тихую гавань. Но, сказать по правде, Авраам был лишен каких бы то ни было артистических дарований. Намного родственней ему был мир чисел, особенно чисел работающих: литературу ему заменял балансовый отчет, музыку – хрупкая гармония производства и объема продаж, а пахучий склад был его храмом. О короне и кинжале в деревянном сундучке он никому не обмолвился даже словом, и поэтому никто не понимал, откуда у него этот облик изгнанного монарха, а между тем с течением лет он скрытно проник в тайны своей родословной, выучив по книгам испанский и разобравшись в письменах на прошитых бечевкой страницах старой записной книжки; и вот наконец, освещаемый вечерним оранже-

вым солнцем, он водрузил корону себе на голову и предстал перед матерью во всей родовой срамоте.

Снаружи в толпе, собравшейся на еврейской улочке, разрастался ропот. Моше Коген, как глава общины, наконец решился войти в синагогу и стать посредником между враждующими матерью и сыном, ибо тут место молитвы, а не ссор; его племянница Сара следовала за ним, и сердце ее медленно трескалось под грузом знания о том, что обширное поле ее любви навсегда останется пустошью, что предательское увлечение Авраама иноверкой Ауророй обрекает ее на вечный ад девичества, на шитье ненужных ползунков и юбочек, голубых и розовых, для младенцев, которые никогда не отяжелят ее утробу.

– Наш Ави собрался сбежать с христианской девчонкой, – сказала она, и голос ее прозвучал среди голубых плиток громко и резко. – Смотрите, уже вырядился, как рождественская елка.

Но Авраам ее не слышал – он тряс перед носом матери кипой ветхих бумаг, прошитых бечевкой и переплетенных в кожу.

– Кто это написал? – вопрошал он и, поскольку она безмолвствовала, отвечал сам: – Женщина. – И, продолжая в духе катехизиса: – Как ее звали? Неизвестно. Кто она была? Еврейка, укрылась в доме низложенного султана, сначала в доме, а там и в постели. Произошло, – констатировал Авраам, – смешение кровей.

И хотя не так уж трудно было проникнуться сочувствием к этой паре, к обездоленному испанскому арабу и изгнанной испанской еврейке, в любви и бессилии объединившимся против могущественных католических монархов, жалость Авраама досталась только мавру:

– Приближенные продали его земли, а любовница украла его корону.

Прожив с Боабдилом годы и годы, анонимная прародительница без лишнего шума покинула дряхлеющего возлюбленного и отплыла в Индию с бесценным сокровищем в ларце и ребенком мужского пола в утробе; от него-то много поколений спустя и произошел Авраам. *Моя мать рассуждает о чистоте крови, а у самой-то в роду мавр.*

– Ты даже имени ее не знаешь, – перебила его Сара. – А берешься утверждать, что в твоих жилах течет ее нечистая кровь. Стыдись – твоя мать из-за тебя плачет. И все, Авраам, из-за богатой девки. Дурно это пахнет, и ты сам, кстати, тоже.

Флори Зогойби, соглашаясь, тихо заскулила. Но Авраам еще не исчерпал всех своих доводов. *Взгляните на эту украденную корону, завернутую в тряпки, запертую в сундук и так пролежавшую четыре с лишним столетия. Если ее украли ради простой наживы, почему до сих пор не продали?*

– Втайне гордясь царственным происхождением, люди хранили эту корону; стыдясь греха, они ее прятали. Так кто из нас ниже, мама? Моя Аурора, которая не скрывает своего происхождения от Васко и только этому радуется, или я, чей предок был зачат от прощальных вздохов старого толстого гранадского мавра в объятиях его нечистой на руку любовницы, – я, еврейский ублюдок, отпрыск Боабдила?

– Доказательства, – прошептала в ответ Флори, как смертельно раненный боец, умоляющий о том, чтобы его добились. – Пока одни предположения; где твердые факты?

И тут неумолимый Авраам задал решающий вопрос:

– Как наша фамилия, мама?

Услышав это, Флори поняла, что последний удар близок. Она беззвучно покачала головой. Тогда Авраам бросил перчатку Моше Когену, от многолетней дружбы с которым он в тот день отказался навсегда:

– У султана Боабдила после его падения было только одно прозвище, и та, которая украла его корону и драгоценности, забрала, в злой насмешке над ним и собой, заодно и кличку тоже. Боабдил Неудачник – вот как его прозвали. Кто-нибудь может это перевести на язык мавров?

И старому фабриканту ничего не оставалось, как поставить точку в цепочке доказательств.

– Эль-Зогойби.

Авраам тихо положил корону на пол рядом с побежденной Флори; ему нечего было добавить.

– По крайней мере он выбрал бойкую девку, – глухо сказала Флори, обращаясь к стене. – Хотя на это хватило моего влияния, пока он еще был мне сыном.

– Шел бы ты отсюда теперь, – сказала Сара пропахшему перцем Аврааму. – Женишься, возьми фамилию этой девчонки. Так мы скорей тебя забудем; ублюбочный мавр и ублюбочная португалка – одного поля ягода.

– Большую ошибку ты сделал, Ави, – заметил старый Моше Коген. – Нельзя было ссориться с матерью; ведь врагов у нас и так хватает, а другой матери тебе не сыскать.

Флори Зогойби, покинутую всеми после одного катастрофического откровения, поджидало второе. В багряно тлеющем закате плитки из Кантона прошли перед ее глазами одна за одной – ведь не она ли была их прислужницей и ученицей? Не она ли их мыла и полировала все эти годы? Не она ли бесчисленное число раз пыталась войти в их множественные миры, в их вселенные, втиснутые в одинаковые клетки двенадцать на двенадцать и намертво прихваченные к стене раствором? Эта разграфленная регулярность в разнообразии завораживала Флори, которая любила проводить линии, но до сих пор плитки были для нее немые, она не видела на них ни беглых мужей, ни будущих воздыхателей, ни пророчеств о предстоящем, ни объяснений прошедшего. Никаких наставлений; смысл, судьба, дружба, любовь – обо всем этом они молчали. Но теперь, в тяжелую минуту, плитки открыли ей тайну.

Сцена за сценой, окрашенные в голубое, проходили перед ее взором. Толкотня базаров, зубчатые стены дворцов-крепостей, колоссящиеся поля, брошенные в темницу воры; еще – высокие остроконечные горы и огромные морские рыбы. В садах росли голубые деревья, в угрюмых схватках проливалась голубая кровь; голубые всадники гарцевали под освещенными окнами, в рошицах обмирали от страсти дамы в голубых масках. И интриги придворных, и надежды крестьян, и писцы со счетами и косичками, и бражничающие поэты. По стенам, полу, потолку маленькой синагоги, а теперь и перед мысленным взором Флори Зогойби шествовала керамическая энциклопедия материального мира, которая была также бестиарием, путеводителем, синтезом и песнопением, и в первый раз за свою службу старосты Флори поняла, чего не хватает в этой пышной кавалькаде. “Не столько чего, сколько кого”, – подумала она, и слезы у нее высохли. “Ни слуху ни духу”. Оранжевый свет заката падал на нее, как грохочущий дождь, смывая слепоту, открывая ей глаза. Через восемьсот тридцать девять лет после того, как плитки привезли в Кочин, в начале эпохи войн и убийств они открыли свою тайну тоскующей женщине.

– Что видишь, то и есть, – пробормотала Флори. – Нет мира, кроме мира. – Потом, чуть громче: – Бога-то нет. Фокус-покус! Мумбо-юмбо! *Духовной жизни не существует.*

Доводы Авраама опровергнуть не так уж трудно. Экая важность – фамилия. Семья да Гама хвалилась происхождением от путешественника Васко, но семейная легенда и истина – вещи разные, поэтому даже здесь у меня имеются серьезные сомнения. А что касается этой мавританщины, этой грандиозной, этой порочной во всех смыслах версии – фамилия, она же кличка, надо же придумать такое! – то она, эта версия, рассыпается от малейшего прикосновения. Старая записная книжка в кожаном переплете? Чушь. Кто когда ее видел? Пропала бесследно. Насчет изумрудной короны тоже не верю – ищите других простаков; это сказочка из тех, что мы, несчастные, сами про себя придумываем. Нет, судари и сударыни, не сходятся тут концы с концами. Семья Авраама никогда не жила богато, и если вы способны пове-

речь, что ларец с драгоценностями пролежал у них нетронутым четыре столетия, тогда, друзья-подружки, вы способны поверить чему угодно. Семейные реликвии, говорите? Да чтоб мне провалиться! Это даже не смешно. Если выбирать между старым барахлом и звонкой монетой, никто во всей Индии не поглядит, реликвии там или не реликвии.

Аурора Зогойби написала кой-какие знаменитые полотна и погибла при страшных обстоятельствах. Самое разумное – отнести все прочее на счет ее художнического мифа о самой себе, к которому в данном случае мой дорогой отец приложил отнюдь не только руку... хотите знать, что на самом деле было в сундучке? Тогда слушайте; о тюрбанах, увешанных драгоценностями, придется позабыть, но изумруды – да. Иногда их было больше, иногда меньше. При этом никаких реликвий. – Что же тогда? – Горячие камушки, вот что. Да! Краденое! Контрабанда! Добыча! Семейный позор вам нужен – пожалуйста: моя бабушка Флори Зогойби была мошенницей. Много лет она состояла в банде удачливых контрабандистов, переправлявших изумруды, и высоко ценилась ими: кому придет в голову искать левый товар под синагогальным алтарем? Долю, которую ей отстегивали, она хорошенько прятала, и не была она такой дурой, чтобы тратить не глядя. Никто ее не подозревал; но пришло время, когда ее сын Авраам востребовал свою незаконную часть... а вы все о незаконном рождении? Да бросьте; тут не родственные счета, а денежные.

Таково мое мнение о подоплеке слышанных мною историй; но хочу также сделать одно признание. Ниже вы найдете истории намного более странные, чем та, которую я только что попытался опровергнуть; и позвольте заверить вас, позвольте сказать всем, кому интересно, что в истинности дальнейших историй не может быть никаких сомнений. Так что в конечном счете судить не мне, а вам.

И еще по поводу мавританской легенды: если выбирать между логикой и памятью детства, между головой и сердцем – тогда несомненно; тогда, вопреки вышенаписанному, я остаюсь верен сказке.

Покинув еврейский квартал, Авраам Зогойби пошел к церкви Святого Франциска, где у гробницы Васко его ждала Аурора да Гама, державшая в руках его будущее. Дойдя до морского берега, он на мгновение обернулся; и ему показалось, что он видит на фоне темнеющего неба, на крыше склада, выкрашенного в кричаще-яркие горизонтальные полосы, немислимую фигуру юной девушки, вскидывающей юбки в бешеном канкане, выкрикивающей знакомые заклинания и словно бросающей ему вызов: *Попробуй переступи.*

“Фокус-покус, райский сад,
Птичий потрох, пошел в ад...”

Слезы навернулись ему на глаза, он их вытер. Она исчезла.

7

Христианство, португальство, еврейство; на древних плитках похабное действо; бойкие женщины в юбках – не в сари; мавританские цари-государыни... и это Индия? *Бхарат-мата, Хиндустан-хамара*³⁸, это она? Война только-только объявлена. Неру и Всеиндийский конгресс требуют от англичан, чтобы те признали справедливость требования независимости в обмен на содействие Индии в военном противостоянии; Джинна и Мусульманская лига отказываются присоединиться к требованию; господин Джинна провозглашает и отстаивает судьбоносную идею о двух нациях на субконтиненте – индуистской и мусульманской. Очень скоро раскол станет необратимым; скоро Неру вновь очутится в тюрьме города Дехрадун, и англичане, арестовав верхушку Конгресса, обратятся за поддержкой к Лиге. И что же – из всей мятежной, смутной эпохи, когда “разделяй и властвуй” достигло наивысшей, разрушительной силы, – из огромной, черной как смоль и неостановимо расплетающейся косы непременно нужно выхватить именно эту чужеродную светлую прядь?

Да, милые вы мои, да, сахибы и прочие джентльмены, – именно так. И я не позволю ни могучему слону Большинства, ни слону помельче – Главному из Меньшинств – раздавить неуклюжими ногами мою историю. Разве мои персонажи, все до одного, не индийцы? То-то же, значит, и эта повесть – индийская повесть. Вот вам один ответ. Но есть и другой: *всему свое время*. Будут вам и слоны. Придет еще час Большинства и Главного из Меньшинств, и многое из того, что цвело и было прекрасно, разнесут бивнями и растопчут в прах эти трубящие лопухие стада. Но пока позвольте мне продолжить тайную мою вечерю, тихую, хоть и с присвистом, дыхательную трапезу. Прочь, прочь дела государственные! Я хочу рассказать вам историю любви.

В духовитом сумраке склада № 1 торгового дома “К-50” Аурора да Гама взяла Авраама Зогойби за подбородок и заглянула в самую глубину его глаз... нет, увольте, не могу и не могу. Ведь это моя мать и мой отец, речь о них, и хотя Аурора Великая была наименее застенчивой из женщин, мне сдается, что сейчас я стесняюсь и за себя, и за нее. Член отца вашего, треугольник матери вашей – видели вы их когда-нибудь? Да или нет – не важно, суть не в этом, а в том, что это сказочные места, над ними витает табу, “сними обувь твою, ибо это место есть земля святая”, – как сказал Голос на горе Синай, и если Авраам Зогойби оказался в роли Моисея, то моя мать была для него не чем иным, как Неопалимой купиной. Скрижали, заповеди, огненный столп, Я есмь Сущий – да, ничего не скажешь, ветхозаветный Бог из нее получился отменный. Я представлял себе, бывало, как она, сидя в ванне, практикуется в разделении вод.

– Сил моих не было ждать, – так объясняла свой поступок сама Аурора.

В своей золотисто-оранжевой гостиной, полной сигаретного дыма, где мужчины, сидя на исфаханских коврах, поглаживали стройные, с браслетами на щиколотках и темнорозовыми ногтями, ноги разлегшихся на диванах юных красавиц; где ее стареющий муж в строгом костюме, стоя у стены, кривил рот в смущенной улыбке, беспомощно шевеля руками, пока наконец его ладони не обретали неподвижность, прижатые к моим юным ушам, – там Аурора потягивала шампанское из переливчатого бокала в форме распускающегося цветка и с небрежной откровенностью рассказывала о том, как лишилась девственности, вспоминая с легким смехом о своей безоглядной юной отваге:

– Думаете, вру? Чтоб мне сдохнуть! Я взяла его за подбородок, и он пошел, я его выдернула из-за стола, как пробку из бутылки, и повела, еврейчика моего ручного. В то время моего любимого.

³⁸ Индия-мать, наша Индия (хиндустан).

В то время... Мы поговорим еще о жестоком смысле этих слов, брошенных с такой легкостью, с таким изящным взмахом звякнувшей браслетами руки. Но сейчас мы находимся именно *в том времени*, в том самом – так что: за подбородок взяла она его и повела, и он пошел; покинул свое рабочее место, оставил свой пост под негодующими взорами Перчандала, Тминсвами и Чиликарри, этой божественной пищащей троицы; последовал за своим подбородком, отдавшись на волю судьбы. Ибо красота в своем роде есть рок, красота говорит с красотой, узнает и дает согласие, она верит, что ею оправдано все, и поэтому, не зная друг о друге ничего помимо слов “наследница-христианка” и “еврей-служащий”, они оба уже приняли самые важные решения, какие только могут быть у людей. Много раз на протяжении всей своей жизни Аурора Зогойби с полной определенностью объясняла, зачем она повела дежурного управляющего в сумрачную глубину склада и почему, побуждая его двигаться следом, она по длинной и шаткой приставной лестнице взобралась на самый верх, к оставленным там пахучим мешкам. Пресекая малейшие поползновения в области психоанализа, она впоследствии гневно отвергала гипотезу о том, что, дескать, после столь многих смертей в семье она оказалась восприимчива к обаянию зрелого мужчины, что ее вначале привлекла, а затем и пленила жалостливая доброта в облике Авраама, что это, таким образом, был обычный случай влечения невинности к опытности.

– Первым делом, – возражала она под аплодисменты и одобрительные возгласы в то время, как папаша Авраам, заслуживая мое презрение, стыдливо пробирался к выходу, – первым делом вы мне скажите, кто там кого тащил? Сдается мне, я была ведущей, а не ведомой. Сдается мне, это Ави был сама невинность, а я была та еще пятнадцатилетняя штучка. А во вторых, я всегда мечтала о красавце, о *герое-любовнике*.

И там-то, наверху, под самой крышей склада № 1, пятнадцатилетняя Аурора да Гама возлегла на мешки с перцем и, дыша жарко-пряным воздухом, замерла в ожидании Авраама. Он взошел к ней, как мужчина восходит к судьбе своей, с дрожью и решимостью, и вот именно здесь слова меня покидают, и поэтому вы не услышите от меня кровавых подробностей того, как она, и потом он, и потом они, и после этого она, и в ответ он, и в свой черед она, и на это, и вдобавок, и коротко, и затем долго, и молча, и со стенанием, и на пределе сил, и наконец, и еще после, и до тех пор, пока... уф! Хватит! Кончено с этим! – И все же нет. Осталось еще кое-что. Рассказывать, так до конца.

Скажу вот что: жарким и жадным было то, что случилось у них. Бешеная любовь! Она подвигла Авраама на битву с Флори Зогойби, и она же заставила его покинуть свое племя, дав оглянуться лишь однажды. “Чтоб за эту милость немедленно он принял христианство”, – потребовал венецианский купец в час своего торжества над Шейлоком, демонстрируя лишь весьма ограниченное понимание милосердия; и дож согласился: “Быть по сему: иначе отменю я прощение, что даровал ему”³⁹. К чему Шейлока принудили силой, на то Авраам, которому любовь моей матери стала дороже любви Господней, был готов пойти добровольно. Он собирался жениться на ней по законам Рима – о, какая буря скрывается за этими словами! Но их любовь была достаточно сильна, чтобы противостоять всем ударам судьбы, чтобы выдержать натиск разбушевавшегося скандала; память об их стойкости придала стойкости и мне, когда я, в свой черед... когда мы с любимой... но в ответ на это она, моя мать... вместо того, чтобы... а я-то рассчитывал... она разгневалась на меня и, когда я больше всего в ней нуждался, она... на свою родную плоть и кровь... вы видите, я и ту, другую историю не в силах рассказывать. Слова вновь покинули меня.

Перечная любовь – так я ее называю. Перечная любовь охватила Авраама и Аурору там, на мешках с золотом Малабара. Когда они сошли наконец с груды специй, пряный запах успел пропитать отнюдь не только одежду любовников. Так страстно впились они друг в друга, до

³⁹ Здесь и далее цитаты из “Венецианского купца” Шекспира даны в переводе Т. Щепкиной-Куперник.

такой степени перемешались их пот, кровь и сокровенные выделения тел, настолько сроднились он и она в этой душной атмосфере, насыщенной запахом кардамона и тмина, не только друг с другом, но и с тем, что витало в воздухе, и с самим содержимым мешков – иные из них, надо сказать, они разорвали и плющили высыпавшиеся зерна перца и кардамона меж стиснутых животов, бедер, ног, – что навсегда с той поры не только их пот стал отдавать перцем и пряностями, но и прочие телесные жидкости приобрели запах и даже вкус того, что они втерли тогда в свою кожу, что растворилось в их любовных соках, что вдохнули они вместе с воздухом во время этого немислимого совокупления.

Вот так-то; если предмет занимает тебя достаточно долго, в конце концов какие-то слова приходят. Но сама Аурора говорила на эту тему без всякого стеснения:

– И всегда с той поры, доложу я вам, мне приходится держать моего Ави подальше от кухни, потому что стоит ему учуять этот запах специй, когда их мелют, – *ну, милые*, он землю тогда начинает рыть копытом. А что до меня – я моюсь-размываюсь, душусь и притираюсь, лишь потому, мои друзья, свежа и всем приятна я.

Отец, отец, ну почему ты ей разрешил так с тобой обращаться, почему ты позволил ей сделать тебя вечной мишенью для насмешек? Почему мы – все остальные – позволили ей это в отношении нас? Неужели ты все еще так сильно ее любил? Было ли любовью то, что мы к ней чувствовали тогда, или же просто давним ее превосходством над нами, которое мы, безропотно мирясь со своим порабощением, безропотно принимали за любовь?

– С этого дня я всегда буду о тебе заботиться, – сказал мой отец моей матери после первой их близости. Но она ответила, что уже становится художницей и поэтому о самом важном в себе способна позаботиться сама.

– Тогда, – сказал Авраам смиренно, – я позабочусь о менее важном, о той части, которая нуждается в еде, отдыхе и удовольствии.

Люди в конических китайских шляпах медленно плыли на плоскодонках через темную лагуну. Красно-желтые паромы в последний раз за день неторопливо перемещались между островами. Кончила работать землечерпалка, и без ее *бум-яка-яка-яка-бум* над гаванью повисла тишина. Покачивались стоящие на якоре яхты, и суденышки с парусами, сшитыми из лоскутов кожи, направлялись домой, в деревню Вайпин; кое-где виднелись буксиры, гребные и моторные лодки. Авраам Зогйби, оставив позади призрак матери, пляшущей на крыше в еврейском квартале, шел в церковь Святого Франциска на свидание с любимой. На берегу были развешаны на ночь сети рыбаков-китайцев. Кочин, думалось ему, город сетей, и я тоже попал в сеть, словно какая-нибудь рыба. В угасающем свете призрачно парили двухтрубные пароходы, торговое судно “Марко Поло” и британская канонерка. Все как обычно, удивлялся Авраам. Как это мир ухитряется сохранять иллюзию постоянства, когда в действительности все стало иным, все необратимо переменялось силою любви?

Может быть, размышлял он, дело в том, что нам вообще трудно принять непривычное, иное. Если не лгать самим себе, то человек, одержимый любовью, заставляет нас вздрагивать; он подобен лунатику, разговаривающему с незримым собеседником в пустом дверном проеме, или смотрящей на море сумасшедшей женщине с огромным мотком бечевки на коленях; мы бросаем на них взгляд и проходим мимо. И сослуживец, о чьих необычных сексуальных склонностях мы случайно узнаем, и ребенок, раз за разом повторяющий бессмысленное для нас сочетание звуков, и увиденная в освещенном окне красивая женщина, позволяющая собачке лизать свою обнаженную грудь; ох, и блестящий ученый, который на вечеринке забивается в укромный угол, чешет там задницу и затем тщательно обследует свои пальцы, и одноногий пловец, и... Авраам остановился и покраснел. Куда увели его мысли! До нынешнего утра он был самым методичным и аккуратным из людей, живущим лишь бухгалтерскими книгами и

колонками цифр, а теперь, Ави, только послушай сам, что ты мелешь, что за немислимый вздор ты несешь, а ну прибавь шагу, не то дама явится в церковь раньше тебя, и помни, что отныне всю жизнь тебе придется лезть из кожи вон, только бы не заставить ждать свою благоверную...
...Пятнадцать лет! Ничего, ничего. В наших краях это не такой уж юный возраст.

А в церкви Святого Франциска: кто это там тихонько постанывает? Кто этот рыжеволосый бледный коротышка, яростно скребущий ногтями кисти рук с тыльной стороны? Кто сей кривозубый херувим, у которого по брючине стекает пот? Священник, господа. А кого вы предполагали увидеть в этих стенах, если не смиренного пса в воротнике ошейником? Нашего зовут Оливер д'Эт, это молодой кобелек прекрасной англиканской породы, не так давно с парохода и страдающий в индийском климате фотофобией.

Он прятался от лучей солнца, как от чужих злобных собак, но они все равно до него добивались, вынюхивали его, в какую конуру он ни заползал в поисках тени. Огненные псы тропиков норовили застать его врасплох, они налетали стаей и вылизывали его с ног до головы, как он ни молил о пощаде; и мигом кожа сплошь покрывалась мелкими, словно в шампанском, аллергическими пузырьками, и, как шелудивая шавка, он начинал скрестись, не в силах сдержаться. Воистину он был затравлен невероятным полыханием дней. Ночами ему снились облака, все нежные оттенки серого в низеньком уютном небе дальней родины; а помимо облаков – потому что, хоть солнце и заходило, тропический жар продолжал терзать его чресла – помимо них еще девушки. Точнее, одна высокая девушка, которая приходила в церковь Святого Франциска в красной бархатной юбке до пят и наброшенной на голову совершенно неангликанской белой кружевной мантилье, девушка, из-за которой одинокий молодой пастор исходил потом, уподобляясь прохудившемуся водяному баку, из-за которой его лицо приобретало в высшей степени церковный пурпурный оттенок.

Она приходила раз или два в неделю посидеть у пустой гробницы Васко да Гамы. Стоило ей впервые горделиво пройти мимо д'Эта, подобно императрице или великой трагической актрисе, как он был сражен. Он еще не видел ее лица, а его собственное лицо уже изрядно налилось пурпуром. Потом она к нему повернулась, и он словно утонул в солнечном сиянии. Мигом на него напал зуд, и он залился потом; шея и кисти рук горели, несмотря на взмахи подвешенных к потолку больших опахал, медленно реявших наподобие женских волос. Чем ближе подходила Аурора, тем хуже ему становилось: жестокая аллергия желания.

– Вы похожи, – сказала она сладким голосом, – на красное ракообразное. И еще на блошинный стадион после того, как все блохи разбежались. А воды-то, воды! Стоит ли завидовать бомбейцам с их фонтаном Флоры, когда в наших владениях есть вы, ваше преподобие?

Воистину она им завладела. Целиком и полностью. С того самого дня муки аллергии стали для него пустяком в сравнении с муками невыразимой, невозможной любви. Он отдавал себя презрению Ауроры, упивался им, ибо это было все, что он мог от нее получить. Но мало-помалу в нем совершалась перемена. Донельзя скованный, водянистый, косноязычный, посмешище даже в своей среде, настоящий английский школьник, над чьей бессловесностью постоянно трунила Эмили Элфинстоун, вдова торговца кокосовым волокном, которая по четвергам кормила его пудингом с говядиной и почками, рассчитывая (пока что тщетно) на нечто в ответ, – он превращался, внешне оставаясь каким был, в совершенно иное существо; его страсть, медленно темнея, становилась ненавистью.

Может быть, он возненавидел ее из-за этой ее привязанности к пустой гробнице португальского путешественника, из-за своего страха смерти, да и как вообще она смела являться лишь для того, чтобы сидеть у гробницы Васко да Гамы и вести с нею нежный разговор, как она смела, когда живые ловили каждое ее движение и каждое слово, предпочесть мертвящую близость с ямой в земле, откуда Васко перекочевал, пролежав всего четырнадцать лет, обратно,

в давно покинутый им Лиссабон? Один только раз имел д'Эт неосторожность приблизиться к Ауроре и спросить – не нужна ли вам моя помощь, дочь моя, – и в ответ она обрушила на него весь высокомерный гнев бесконечно богатых:

– Это наши семейные дела, нечего вам соваться!

Потом, смиловившись, она объяснила ему, что пришла исповедаться, и Оливера д'Эта потрясло это богохульство: испрашивать отпущения грехов у пустой могилы.

– У нас здесь англиканская церковь, – промямлил он, и, услышав это, она вскочила на ноги, выпрямилась во весь рост и ослепила его, восстающая из красного бархата Венера, а затем обдала иссушающим жаром презрения.

– Скоро, – сказала она, – мы всех вас опрокинем в море вместе с вашей церковью, которая оттого только у вас возникла, что один старый король-пердила вздумал жениться на молодой.

Потом она спросила, как его величать. Услышав ответ, она захохотала и хлопнула в ладоши.

– Нет, это уж слишком. Всеобщая Смерть⁴⁰, прошу любить и жаловать!

После этого он не мог с ней больше разговаривать: она ударила по больному месту. Индия лишала Оливера д'Эта всяческих сил; его сновидения были то эротическими фантазиями о чаепитиях голышом со вдовой Элфинстоун на лужайках, покрытых бурыми покальвающими циновками из кокосового волокна, то мучительными кошмарами, когда он попадал в такое место, где его неизменно лупили, как мула, как пыльный ковер, а также пинали ногами. Мужчины в головных уборах, плоских сзади, так что они могли, если нужно, прижаться спиной к стене и не позволить врагу заползти с тыла, в головных уборах, сделанных из чего-то черного, твердого и блестящего, – эти мужчины подстерегали его на каменистых горных тропах. Они били его, не говоря ни слова. Сам он, напротив, громко вопил, отчего страдала его гордость. Стыдно было так кричать, но он не мог удержаться. И при этом он знал в своих снах, что злополучное место было и останется его домом; он снова и снова будет идти по этой горной тропе.

После того как он увидел в церкви Аурору, она стала появляться в этих тяжелых, напеченных болью сновидениях. *Людские предпочтения непостижимы*, сказала она ему один раз, видя, как он тащится по тропе после особенно жестоких побоев. Осуждала ли она его? Порой он думал, что она должна презирать его за то, что он мирится с таким унижением. Но бывало, он замечал в ее глазах, в гладких линиях рук, в птичьем повороте головы начатки мудрости. Словно она говорила, что если людские предпочтения непостижимы, то людей нельзя судить и нельзя презирать.

– С меня сдирают шкуру, – сказал он ей во сне. – В этом мое святое призвание. Чтобы до конца стать человеком, надо лишиться кожи.

Проснувшись, он так и не смог решить, чем объясняется этот сон: то ли его верой в единство всех человеческих рас, то ли аллергией, из-за которой его кожа зудела и свербела; героическое видение это было или банальность.

Индия была неопределима. Она была обманом, иллюзией. Здесь, в кочинском форте, англичане изо всех сил старались поддержать свой английский мираж, здесь английские домики окружали английскую лужайку, здесь играли в гольф и крикет, устраивали чаепития с танцами, здесь было отделение Ротари-клуба и масонская ложа. Но д'Эт не мог не видеть здесь фальши, не мог не слышать грубого притворства в речах торговцев кокосовым волокном, лгущих о своей образованности, не мог не вздрагивать от движений в танце их, по правде сказать, большей частью довольно неотесанных жен, не мог не замечать кровососущих ящериц под английскими живыми изгородями или попугаев на ветвях джакаранды, не слишком-то напоминающей растительный мир родины. А стоило ему взглянуть на море, как иллюзия Англии

⁴⁰ Имя Оливер д'Эт созвучно английским словам *allover death* – “всеобщая смерть”.

вовсе исчезала, ибо гавань не замаскируешь, и как бы англазирована ни была суша, вода твердила свое – могло показаться, что Англию омывает чужое море. Чужое и беспокойное; Оливер д'Эт знал достаточно, чтобы понимать, что граница между английскими анклавами и окрестной чужеродностью стала проницаема, начала рассасываться. В свой срок Индия их заполонит. Британцы, как напороочила Аурора, будут опрокинуты в Индийский океан, который здешние на свой лад называют Аравийским морем.

И все же, считал он, нельзя опускать руки, надо поддерживать преемственность. Путь бывает верный и неверный, есть Господень тракт и тропа заблуждений. Хотя, конечно, это всего лишь метафоры, не стоит понимать их слишком буквально, не стоит слишком громко славить рай и слишком многим грешникам сулить муки ада. Он делал это добавление, пожалуй, даже яростно, потому что Индия начала подтачивать его кротость; Индия, где Фома Неверный учредил то, что можно назвать христианством сомнения, встретила англиканскую церковь с ее мягкой рассудочностью облаками жаркого фимиама и всполохами религиозного пыла... Он смотрел на стены церкви Святого Франциска, где были начертаны имена умерших молодых англичан, и ему становилось страшно. Восемнадцатилетние девушки приезжали в надежде подцепить на крючок жениха и, едва успев сойти на берег, ложились в индийскую землю. Девятнадцатилетние отпрыски славных семейств, прожив здесь всего несколько месяцев, падали замертво. Оливеру д'Эту, который ежедневно задавался вопросом, когда же индийская пасть проглотит его самого, шутка Ауроры по поводу его имени и фамилии представлялась такой же безвкусной, как ее беседы с пустой гробницей Васко да Гамы. Он, конечно, молчал об этом. Такое не следует говорить. К тому же от ее красоты у него отнимался язык; она ввергала его в жаркое смущение – ибо, когда его пронзал этот презрительный, насмешливый взгляд, *он желал, чтобы земля поглотила его*, – и вдобавок эта красота вызывала у него зуд.

Аурора в кружевной мантилье, распространяя сильный запах перца и совокупления, ждала возлюбленного у гробницы Васко да Гамы; Оливер д'Эт, едва не лопаюсь от похоти и негодования, таился в темном углу. Кроме них в сумрачной церкви, слабо освещенной несколькими желтыми лампами на стенах, были только сестры Аспинуолл – три англичанки-мемсахиб⁴¹, которые недовольно причмокнули, когда облаченная в бесстыдный багрянец юная папистка гордо прошествовала мимо; одна из сестер даже поднесла к носу надушенный платочек, на что тотчас же отреагировал острый язычок Ауроры:

– Что это за куры здесь раскудахтались? Да нет, не куры, пожалуй. Скорей уж рыбы, поперхнувшиеся костями других рыб.

И молодой священник, не в силах приблизиться к ней, не в силах отвлечь от нее свое внимание, теряя рассудок от ее немислимого запаха, почувствовал, что вдова Элфинстоун оттеснена на задворки его сознания, несмотря на то, что она была красивая женщина всего двадцати одного года и отнюдь не испытывала недостатка в поклонниках. “Можно не иметь золотых гор, но быть разборчивой”, – сказала она ему раз. Немало мужчин стучалось в двери молодой вдовы, и не все имели благородные намерения. “Многие вопрошают, но немногим дается ответ, – сказала она. – Надо провести черту, которую непросто перейти”. Эмили Элфинстоун, статная молодая женщина, но отвратительная кухарка, уже, наверное, стоит у плиты в надежде, что сегодня наведается Оливер д'Эт; так оно и случится, так оно и случится. Пока что, однако, он оставался где был, и взгляды, бросаемые им украдкой на предмет своих мечтаний, отдавали неверностью. Авраам ворвался, как вихрь, и чуть не бегом ринулся к гробнице Васко. Когда Аурора зажала его ладони меж своих и они повели разговор торопливым шепотом, Оливер д'Эт ощутил прилив гнева. Он резко повернулся и пошел прочь, стуча каблуками своих черных ботинок по каменному полу, и в желтых конусах света сестрам Аспинуолл было видно, что

⁴¹ Мемсахиб – госпожа (почтительное обращение к замужней европейской женщине).

молодой человек идет, сжав кулаки. Повскакав с мест, они перехватили его у дверей. Почувствовал ли он запах, в котором нельзя было ошибиться и который длинные опахала постепенно разносили по всей церкви до самых отдаленных ее уголков? – Почувствовал, уважаемые дамы. – Видел ли он, как эта бесстыдница-католичка милуется с любовником у всех на глазах? – И, может быть, он еще не знает, ведь он недавно приехал, что этот, который тискает ее в доме молитвы, что он работает в ее семейной фирме мелким служащим и, вдобавок ко всему, придерживается иудейской веры? – Он этого не знал, уважаемые дамы, он премного благодарен за эти сведения. – Но это же недопустимо, он этого, конечно же, не потерпит, намерен ли он действовать? – Намерен, уважаемые дамы, правда, не сию минуту, следует избегать неприятных сцен, но меры, безусловно, будут приняты, и самые решительные, на этот счет они могут быть спокойны. – Ну что ж! Он обещал и должен отвечать за свои слова. Утром они возвращаются в Ути⁴² и надеются, когда вновь спустятся сюда, увидеть результаты. “Эта бешарамная парочка должна зарубить себе на носу, – сказала старшая из сестер Аспинуолл, – что такая *тамаша* не лезет ни в какие ворота”. – Уважаемые дамы, я весь к вашим услугам.

Позднее в тот же вечер, выпив у молодой вдовы немного портвейна и приходя в себя после огромной тарелки с кожистыми полуобгорелыми трупиками, Оливер д'Эт упомянул о событиях в церкви Св. Франциска. Но едва он произнес имя “Аурора да Гама”, потение и зуд возобновились с новой силой, поскольку сами эти звуки были способны воспламенить его, и Эмили взорвалась в неожиданном, необузданном приступе гнева:

– Эти люди не более здешние, чем мы, но мы, по крайней мере, можем уехать домой. Когда-нибудь Индия им тоже задаст перцу, им придется либо плыть, либо тонуть.

– Нет, нет, – стал возражать д'Эт, – здесь, на юге, почти не бывает столкновений такого рода, – но она обрушилась на него со всей яростью. Они – *отщепенцы*, кричала она, эти так называемые христиане с их невнятными дикарскими обрядами, не говоря уже о вымирающих евреях, это все не люди, а шваль, отребье из отребья, и если им приспичило устроить... *случку*, то это самое неинтересное, что только есть на свете, и совершенно не то, о чем она хотела думать в сегодняшний хороший вечер, и пусть даже эти три мегеры из богатенького пошленького Утакаманда, эти три *чайные дамы* решили поднять вселенский вой, все равно она не намерена уделять этой теме больше ни одной секунды, и еще она должна сказать, что он, Оливер, сильно упал в ее глазах, она думала, что у него достанет деликатности не обсуждать с ней такое, не говоря уже о том, чтобы краснеть как рак и *сочиться* от одного лишь имени этой особы.

– Покойный мистер Элфинстоун, – сказала она прерывающимся голосом, – имел слабость к местным девочкам. Но он уважал меня хотя бы настолько, чтобы не афишировать передо мной свои похождения с танцовщицами; а вы, Оливер – духовное лицо! – вы сидите за моим столом и весь *течете*.

Оливер д'Эт, которого вдова Элфинстоун попросила более не утруждать себя визитами к ней, удалился и поклялся отомстить. Эмили совершенно права. Аурора да Гама и ее еврей – это не более чем мухи, ползающие по огромному индийскому алмазу; как смеют они с таким бесстыдством бросать вызов естественному порядку вещей? Прямо напрашиваются на то, чтобы их прихлопнули.

У пустой гробницы легендарного португальца, протянув обе ладони к юной возлюбленной, которая зажала их меж своих ладоней, Авраам Зогойби исповедался: ссора, изгнание, бездомность. Вновь подступили слезы. Но он ушел от матери ради еще более крепкого орешка; Аурора начала действовать немедленно. Она подхватила Авраама и перенесла его на остров Кабрал, где поселила в подновленном “западном” домике Корбюзе.

⁴² Ути (Утакаманд) – горный курорт в Южной Индии.

– Жаль, что ты такой высокий и широкоплечий, – сказала она ему. – Костюмы моего бедного папочки тебе будут малы. Сегодня ночью, правда, тебе не понадобится костюм.

И отец мой, и мать потом называли эту ночь подлинной своей брачной ночью, несмотря на более ранние события на верхотуре среди мешков с “малабарским золотом”; а дело все в том, что:

после того как пятнадцатилетняя наследница торгового дома вошла в спальню своего избранника, складского управляющего, бывшего на двадцать один год старше ее, облаченная в один лишь лунный свет, с гирляндами из жасмина и ландышей, которые старая Джози вплела в ее распущенные черные волосы, ниспадавшие, подобно королевской мантии, почти до прохладного каменного пола, по которому ее обнаженные ступни двигались так легко, что потрясенному Аврааму на миг почудилось, будто она летит;

после второго их пряного соития, в котором старший мужчина полностью подчинился воле юной возлюбленной, словно истощив самим актом соединения с ней свою способность к выбору и принятию решений;

после того как Аурора шепотом поведала ему свою тайну, *потому что долгие годы я исповедалась только пустому месту, но теперь, муж мой, я могу рассказать тебе все*, и, узнав об убийстве бабушки и о старухином предсмертном проклятии, он, не моргнув глазом, смирился с судьбой; извергнутый из среды своего народа, он принял на себя бремя последней злой воли главы семейства, воли, которую Эпифания прохрипела Ауроре на ухо и которую сладкой отравой Аурора теперь вдохнула в него: *дом, разделившийся сам в себе, не устоит*⁴³, вот что она мне сказала, муж мой, пусть *дом твой вечно будет расколот, пусть фундамент его обратится в пыль, пусть дети твои восстанут против тебя, пусть низвержение твое будет ужасным*;

после того как Авраам, успокаивая ее, поклялся защитить ее от проклятия, поклялся стоять подле нее плечом к плечу, какие бы невзгоды их ни постигли;

после того как он пообещал ради брака с нею сделать великий шаг, принять наставление и перейти в католичество, а перед ее обнаженным телом, приведшим его в некий религиозный трепет, дать такое обещание было вовсе не трудно, в этом вопросе он тоже готов был подчиниться ее воле, условностям ее окружения, хотя у нее самой было не больше веры, чем у москита, хотя внутри него звучал некий голос, о чьих требованиях Авраам молчал, и этот голос говорил, что ему следует сберечь свое еврейство в самой сердцевине души, что в самом ее потайном уголке у него должна быть комната, недоступная никому, где будет храниться его тайная истина, его подлинная сущность, и только тогда ему можно будет отдать все остальное во имя любви;

после всего этого дверь их брачного чертога распахнулась настежь, и в ней с фонарем, в пижаме и ночном колпаке, ни дать ни взять гномик из детской сказки, если только отвлечься от выражения напускного гнева на лице, возник Айриш да Гама; рядом с ним – в старом муслиновом чепце и ночной рубашке со сборчатым воротником из гардероба Эпифании – Кармен Лобу да Гама, изо всех сил старающаяся скрыть зависть под маской ужаса; и чуть позади них – ангел мести, доносчик, ярко-розовый и потеющий в три ручья, – разумеется, Оливер д'Эт. Но Аурора была не из тех, кто способен сдерживать себя и сыграть предписанную ей роль в этой викторианской мелодраме на тропический лад.

– Дядюшка Айриш! Тетушка Сахара! – воскликнула она задорно. – А где же Шавка-Джавка, ваш любимчик? Он не обидится? Ведь вы сегодня другого пса выгуливаете, вон у него ошейник какой.

Чем вызвала у Оливера д'Эта еще большее покраснение лица.

⁴³ Евангелие от Матфея, 12:25.

– Блудница вавилонская! – крикнула Кармен, пытаясь направить события в положенное русло. – Мать была шлюха, и дочь такая же!

Аурора, чтобы позлить их побольше, выпрямила свое стройное тело под белой льняной простыней; открылась одна из грудей, что вызвало судорожный пасторский вздох и заставило Айриша обращаться к стоявшей в стороне радиоле “телефункен”:

– Зогойби, черт вас побери! До какой степени надо лишиться стыда!

– “Это моя племянница, сэр!” И пошло-поехало. С его-то послужным списком – и такой праведный гнев! – хохотала моя мать, рассказывая эту историю в доме на Малабар-хилле. – Ребята, я чуть не лопнула со смеху. “Что все это значит?” Болван безмозглый. Ну, пришлось объяснить. Это, говорю, значит то, что у меня бракосочетание. Вот, говорю, священник, вот ближайшие родственники, все мило-пристойно. Включите радио – может, свадебный марш сыграют.

Айриш велел Аврааму одеваться и убираться; Аурора приказала ему оставаться на месте. Айриш пригрозил вмешательством полиции, на что Аурора заметила: “А тебе самому, дядюшка Айриш, разве нечего скрывать от настырных легавых?” Айриш густо покраснел и, пробормотав: “Мы к этому еще вернемся в утренние часы”, ретировался, сопровождаемый торопливым Оливером д'Этом. Кармен с отвисшей челюстью на секунду застыла у входа. Потом ринулась вон, театрально хлопнув дверью. Аурора повернулась к Аврааму, который лежал, закрыв лицо руками.

– Вот она я, готовая ли, нет ли, какая разница, – прошептала она. – Господин, к вам невеста, берите ее.

В ту августовскую ночь 1939 года Авраам Зогойби закрыл лицо потому, что его настиг страх, внушенный, однако, не Айришем, не Кармен и не пастором-аллергиком; то был страх иного рода, внезапная паническая мысль, что уродство жизни может пересилить ее красоту, что любовь не делает любовников неуязвимыми. И все же, подумалось ему, даже если бы вся любовь и вся красота мира были на краю гибели, лишь их сторону следовало бы держать; побежденная любовь остается любовью, победившая ненависть – ненавистью. “Лучше, впрочем, самим побеждать”. Он пообещал Ауроре печься о ней – и сдержал слово.

О том, что моя мать написала “Скандал”, всякому любителю живописи известно и без меня, поскольку это огромное полотно находится в Национальной галерее современного искусства в Нью-Дели, где занимает целую стену. Надо миновать “Женщину, держащую плод” Рави Вермы, эту юную, увешанную драгоценностями соблазнительницу, чей взгляд искоса, полный откровенной чувственности, напоминает мне ранние вещи самой Ауроры; затем повернуть за угол около мистически-потусторонней акварели Гаганендраната Тагора “Джадугар” (“Колдунья”), где монохромная индийская версия искривленного мира “Кабинета доктора Калигари”⁴⁴ выстроена на умопомрачительном оранжевом ковре и, должен признаться, напоминает мне дом на острове Кабрал резкостью светотени, смещенной перспективой и не внушающим доверия обликом крадущихся фигур, не говоря уже о полускрытом за ширмой центральном персонаже – причудливо разодетой и увенчанной короной великанше; а затем – быстро повернитесь кругом! Сейчас не время говорить о том, насколько справедливы уничижительные оценки, которые космополитичная до мозга костей Аурора Зогойби давала работам своей погруженной в мир деревни старшей современницы, другой претендентки на титул первой художницы Индии; напротив шедевра Амриты Шер-Гил “Старый сказитель” – вот оно наконец: Аурора во всем своем великолепии, полотно, которое, по мнению такого скромного или, возможно,

⁴⁴ “Кабинет доктора Калигари” (1919) – фильм режиссера Р. Вине, программное произведение немецкого экспрессионизма.

как раз нескромного ценителя, как я, ничуть не уступает в цвете и динамизме знаменитым круговым пляскам Матисса, только на этой плотно населенной фигурами картине с ее кричаще-красными и ядовито-зелеными тонами пляшут не тела, а языки, и все они, все талдычащие *гуль-гуль-гуль* ближнему на ухо языки богато расцветченных персонажей черны как смоль, смоль, смоль.

Я не буду обсуждать здесь живописные особенности этой работы, остановлюсь лишь на некоторых из тысячи и одной истории, которые она рассказывает, – ведь всем известно, как много Аурора взяла от южной традиции повествовательной живописи: глядите, здесь вновь и вновь возникает загадочная фигура мокрого от пота рыжего священника с головой пса, и все, надеюсь, со мной согласятся, что эта фигура играет организующую роль во всей композиции. Глядите! Вот он здесь, рыжим пятном на фоне голубых плиток синагоги; вот он опять, теперь уже в католическом соборе Святого Креста, расписанном сверху донизу фальшивыми балкончиками, фальшивыми гирляндами и, разумеется, сценами крестного пути, – вот он! Пес-пастор шепчет на ухо потрясенному католическому епископу в полном облачении, изображенному в виде рыбы⁴⁵.

Композиционно “Скандал” сделан как грандиозная спираль, в которую Аурора вплела оба скандала, постигших кочинское семейство да Гама: здесь и горящие плантации специй, и любовники, которых запах тех же специй выдал с головой. На склонах гор, служащих фоном для закрученной спиралью толпы, можно видеть враждующие кланы Лобу и Менезишей; Менезиши изображены со змеиными головами и хвостами, а Лобу, разумеется, в виде волков⁴⁶. На переднем плане видны улицы и набережные Кочина, кишашие людьми из всех растревоженных скандалом общин: здесь и рыбы-католики, и псы-протестанты, и евреи дельфтской голубизны, подобные фигурам на китайских плитках. Махараджа, британский резидент, прочие облеченные властью лица принимают петиции; от них требуют решительных действий. *Гуль-гуль-гуль!* Руки держат плакаты и горящие факелы. Вооруженные люди защищают склады от преисполненных праведного гнева городских поджигателей. Да, страсти на картине кипят вовсю – как и в жизни. Аурора не раз повторяла, что картина имеет своим источником события семейной истории, чем немало раздражала тех критиков, кому подобный историзм был чужд, кто готов был свести искусство к простому анекдоту... Но она никогда не отрицала, что две фигуры в самом центре беснующейся спирали – это Авраам и она сама. Наслаждаясь тишиной посреди вихря, они спят на мирном острове в самом сердце урагана; переплетясь телами, они лежат в открытом павильоне, вокруг которого разбит английский сад с водопадами, ивами и цветниками, и если пристально взглянуть в эти маленькие фигурки, можно увидеть, что они покрыты не кожей, а перьями, что головы у них орлиные и что их ищущие, алчущие языки не черные, а розовые, пухлые, сочные. “Буря в конце концов улеглась, – сказал мне отец, когда привел меня, мальчика, смотреть эту картину. – А мы витали над ней, мы бросили им всем вызов, и мы победили”.

Я хочу – наконец-то! – сказать теперь доброе слово о двоюродном дедушке Айрише и его жене Кармен-Сахаре. Хочу выдвинуть аргументы, извиняющие их поведение; ведь, когда они ворвались в Аурорино любовное гнездышко, они были искренне обеспокоены на ее счет, ведь это, в конце концов, нешуточное дело, когда тридцатилетний мужчина без гроша в кармане лишает девственности пятнадцатилетнюю миллионершу. Добавлю еще, что жизнь самих Айриша и Кармен была ломаной и несчастной, потому что в ее основе лежала ложь, и нечего удивляться, что их поведение порой тоже было ломаное. Как Шавка-Джавка, они производили много шума, но кусаться, в общем, не кусались. И важнее всего то, что они очень скоро рас-

⁴⁵ Рыба – один из важнейших христианских символов.

⁴⁶ Lobo – волк (*португ.*).

каялись в своем кратком союзе с ангелом всеобщей смерти и, когда скандал достиг высшей точки, когда склады компании были на волосок от уничтожения бушующими толпами, когда не было недостатка в желающих линчевать еврея и его потаскушку, когда в течение нескольких дней жители еврейского квартала Магтанчери дрожали за свою жизнь и когда события в Германии перестали казаться такими странными и далекими, – в это время Айриш и Кармен встали на защиту любовников, они проявили солидарность и не позволили нанести урон интересам семьи. И если бы Айриш не появился перед подступившей к воротам склада толпой и мощным окриком не осадил ее вожаков – акт необычайной личной смелости, – и если бы они с Кармен не посетили всех без исключения религиозных и светских городских руководителей и не заверили их, что происходящее между Авраамом и Ауророй совершается по любви и что они как законные опекуны девушки против этого не возражают, то неизвестно еще, куда вынесла бы всех участников спираль событий. А так скандал выдохся за несколько коротких дней. В масонской ложе, куда Айриш незадолго до того вступил, сливки местного общества одобрили деликатное поведение мистера да Гамы в создавшейся ситуации. Сестры Аспинуолл, слишком поздно вернувшиеся из “богатенького пошленького Ути”, пропустили всю потеху.

Впрочем, победа никогда не бывает полной. Кочинский епископ ни в какую не желал согласиться на крещение Авраама, а глава еврейской общины Моше Коген, в свою очередь, заявил, что о бракосочетании по еврейскому обряду не может быть и речи. Вот почему – открою секрет – мои родители всегда подчеркивали, что бурная ночь в домике Корбюзье была их первой брачной ночью. Переехав в Бомбей, они стали называть себя мистером и миссис, и Аурора, взяв фамилию Зогайби, сделала ее знаменитой; но, леди и джентльмены, никаких свадебных колоколов не было и в помине.

Я приветствую их внебрачную отвагу; судьба, замечу, распорядилась так, что ни ему, ни ей, при всем их равнодушии к религии, не пришлось рвать конфессиональную связь с прошлым. При этом воспитание, которое получил я, не было ни католическим, ни еврейским. Я и то, и другое – или ни то, ни другое, жидопапист, катоиудей, римско-иерусалимский кентавр, ни рыба ни мясо, гибрид, беспородная дворняга. Как теперь пишут на коробках? *Гомогенизированная смесь*. В общем, господа, полуфабрикат “Бомбей”.

“Бастард”: я неравнодушен к этому слову. “Баас” – вонь. “Тард” – английское *turd* – попросту дерьмо. Итак: “бастард” – вонючее дерьмо; взять меня, к примеру.

Через две недели после того, как утих скандал, затеянный из-за поведения моих будущих родителей Оливером д'Этом, его навестил, проникнув ночью сквозь дырочку в москитной сетке, некий весьма зловредный комарик. Скорым и заслуженным следствием этого визита романтического мстителя стало то, что священник заболел малярией и, несмотря на самоотверженную заботу, денно и нощно проявляемую вдовой Элфинстоун, несмотря на все прохладные компрессы ее несбыточных надежд, он пылал, и исходил потом, и спустя недолгое время скончался.

Знаете, я сегодня сочувственно настроен – бывает же такое. Может, мне и этого поганца жалко.

8

Помимо двух публичных скандалов, было в истории нашей семьи и нечто такое, самое, может быть, скандальное, что не стало пока достоянием гласности; однако теперь, когда мой отец Авраам Зогойби в возрасте девяноста лет испустил дух, у меня нет причин долее хранить щекотливые тайны... “Лучше самим побеждать” – таков был его неизменный девиз, и едва он вошел в жизнь Ауроры, как она почувствовала, что это не пустые слова; потому что не успел утихнуть тарарам из-за их романа, как, изрыгнув из труб клубы дыма и громко прогудев *хум-хум-хум*, торговое судно “Марко Поло” отправилось в плавание к лондонским докам.

В тот вечер Авраам вернулся на остров Кабрал, пробыв в отлучке весь день, и по одной только игривости, с какой он погладил бульдога Джавахарлала, можно было заключить, что его распирает от восторга. Аурора, во всем своем властном великолепии, потребовала, чтобы он объяснил, где был и чем занимался. В ответ он показал на удаляющийся пароход и сделал жест, который ей пришлось потом видеть много раз, жест, означавший “не спрашивай”: он словно повесил на губы воображаемый замок, вставил ключик и повернул.

– Я обещал тебе, – сказал он, – что позабочусь о менее важном, но для этого мне иногда придется держать рот на замке.

В те дни в газетах, радиопередачах, разговорах людей на улицах была только война, война, война; по правде говоря, Гитлер и Черчилль сыграли не последнюю роль в том, что моих мятежных родителей оставили в покое, и начало Второй мировой войны оказалось великолепным отвлекающим фактором. Из-за потери немецкого рынка цены на перец и прочие специи стали нестабильны, и ходили упорные толки об опасностях, подстерегающих грузовые суда. Особенную тревогу рождали слухи о планах немцев развязать морскую войну в Индийском и Атлантическом океанах – слово “подлодки” было у всех на устах – с тем, чтобы парализовать экономику Британской империи, и никто не сомневался, что торговые суда будут такой же лакомой целью для субмарин, как военные; кроме того, само собой, еще мины. Вопреки всему этому Аврааму удался некий фокус – и вот вам пожалуйста: “Марко Поло” выходит из кочинской гавани и берет курс на запад. “Не спрашивай”, – говорил он всем своим видом; и Аурора, моя царственная мать, вскинув руки, немножко ему поаплодировала и воздержалась от расспросов. Она сказала только:

– О ком я всегда мечтала, это о чародее. Выходит – нашла?

Думая об этом, я не устаю удивляться поведению матери. Как сумела она обуздать свое любопытство? Авраам совершил невозможное, и она примирилась с тем, что не знает, как это ему удалось; она готова была жить в неведении, готова была к роли девочки со своим маленьким замочком и ключиком. Неужели за все последующие годы, когда фамильный бизнес рос как на дрожжах, триумфально распространяясь во всех мыслимых направлениях, когда скромные Гаты⁴⁷ богатств семьи да Гама превратились под рукой Зогойби в заоблачные Гималаи, – неужели ей ни разу не пришло в голову – неужели она не заподозрила – нет, такого, конечно, не могло быть; она сознательно выбрала слепоту, войдя с ним в молчаливый сговор: мол, не рассказывайте мне о том, чего я знать не желаю, и тише, я работаю над очередным шедевром. И такова была сила ее слепоты, что мы, ее дети, также ничем не интересовались. Какое надежное прикрытие она создала для деятельности Авраама Зогойби! Какой величественный легализующий фасад... но я не буду забегать вперед. Пока что необходимо предать гласности только то обстоятельство – *давным-давно пора*, чтобы кто-нибудь предал его гласности! – что мой отец Авраам Зогойби обладал выдающимся талантом к переубеждению строптивцев.

⁴⁷ Гаты – горы в Южной Индии.

Мне из первых рук известно, что, отлучаясь по своим таинственным делам, он большую часть времени проводил среди портовых рабочих; выбирая самых рослых и сильных из тех, кого он знал, он отводил их в сторонку и объяснял им, что если нацистам удастся их блокада и, вследствие этого, фирмы, подобные торговому дому “Камоинш – пятьдесят процентов”, разорятся, то их, грузчиков, с семьями ждет нищета.

– Этот капитан “Марко Поло”, этот жалкий трус, – цедил он презрительно, – своим отказом плыть крадет еду у твоих детей.

Сколотив себе маленькую армию, способную в случае необходимости одолеть команду парохода, Авраам в одиночку отправился говорить с главными управляющими. Господа Перчандал, Тминсвами и Чиликарри встретили его с едва скрываемым неудовольствием – ведь до недавнего времени он был всего-навсего их мелким подчиненным, которым они могли распоряжаться как им вздумается. А теперь, скажите пожалуйста, соблазнил эту дешевую шлюшку, собственницу фирмы, и имеет наглость являться и командовать, как невесть какое начальство... Но делать нечего, пришлось повиноваться. Хозяевам и капитану “Марко Поло” были посланы срочные телеграммы, составленные в категорической форме, и чуть погодя Авраам Зогойби, по-прежнему один, сопровождаемый лишь портовым лоцманом, отправился на торговое судно.

Разговор с капитаном был короткий.

– Я ему выложил все как есть, – рассказывал мне отец в глубокой старости. – Необходимость прибрать к рукам, не теряя времени, британский рынок, чтобы возместить потерю доходов в Германии, и так далее, и тому подобное, я не скупился на обещания – в переговорах это всегда полезно. Ваша отвага, говорю, сделает вас богатым человеком, едва вы войдете в Ост-Индский док. Это ему понравилось. Он ко мне расположился. – Отец умолк, переводя дыхание, силясь наполнить воздухом остатки изорванных легких. – Ну, разумеется, у меня для него не только блюдо с халвой было припасено, но и большая бамбуковая палка. Если, говорю, до захода солнца согласия не будет, то должен вас предупредить как деловой человек делового человека, что, к моему искреннему сожалению, корабль и его капитан отправятся на дно кочинской бухты.

Я спросил отца, готов ли он был исполнить угрозу. На мгновение мне почудилось, что он тянется за своим невидимым замком и ключиком; но вдруг на него напал неустойчивый кашель, он перхал и харкал, из его подернутых слезой старческих глаз струилась влага. Лишь когда конвульсии чуть поутихли, я понял, что это был смех.

– Эх, мальчик, мальчик, – прохрипел Авраам Зогойби, ставить ультиматум надо только в том случае, когда ты не просто готов, но и желаешь исполнить угрозу.

Капитан “Марко Поло” не посмел послушаться; план Авраама Зогойби сорвался в силу иных обстоятельств. Подняв якорь вопреки тревожным слухам, вопреки трезвому расчету, торговое судно шло через океан, пока немецкий крейсер “Медея” не продырявил его лишь в нескольких часах плавания от острова Сокотра, что у Африканского Рога. Пароход затонул немедленно, все члены экипажа погибли, груз пропал.

– Я зашел с туза, – сказал мой престарелый родитель. – Но его, черт подери, перебили козырем.

Кто бросит камень во Флори Зогойби за то, что, покинутая единственным сыном, она слегка помешалась? Кто поставит ей в вину долгие часы, которые она проводила, сидя в соломенной шляпке и облизывая беззубые десны на скамейке в вестибюле синагоги, шлепая пасьянсными картами или щелкая косточками маджонга, безостановочно проклиная при этом “мавров”, к которым мало-помалу стала причислять едва ли не всех людей на свете? И кто не простит ей ложный вывод о том, что ей являются призраки, сделанный в один прекрасный

день весной 1940 года, когда ее блудный сын Авраам, как ни в чем не бывало, подошел к ней, сладко улыбаясь во весь рот, словно он только что выкопал сундук с золотом?

– Ну что, Ави, – сказала она медленно, боясь взглянуть на него в упор и обнаружить, что видит сквозь него, поскольку это означало бы, что она окончательно спятила. – Сыграем?

Его улыбка стала еще шире. Он был так красив, что она разозлилась. С какой стати он является без предупреждения расточать тут свои улыбочки?

– Мне ли тебя не знать, Ави, малыш, – сказала она, по-прежнему кося глаза на разложенные карты. – Если ты так вот улыбаешься, значит, в яме сидишь, и чем улыбка шире, тем яма глубже. Сдается мне, ты сам не знаешь, как быть с тем, что тебе досталось, вот и прибежал к маме. В жизни не видела у тебя такой широкой улыбки. Садись! Сыграем партию-другую.

– Не надо никаких игр, мама, – ответил Авраам, растягивая рот до мочек ушей. – Войдем лучше внутрь – ведь ты не хочешь, чтобы весь квартал знал про наши с тобой дела?

Наконец она взглянула ему в глаза.

– Садись, – сказала она и, когда он сел, сдала карты для игры “рамми”. – Думаешь взять надо мной верх? Ни в жизнь, сынок. И думать забудь.

Пароход затонул. Благополучие семьи да Гама вновь оказалось под угрозой. Я рад сообщить, что это не привело к неприглядным ссорам на острове Кабрал, – перемирие между старыми и новыми членами клана соблюдалось неукоснительно. Но угроза была вполне реальна; после многих уговоров и других, не столь приличных для упоминания, действий, о которых следовало держать рот на замке, второе, а за ним и третье судно были отправлены кружным путем мимо мыса Доброй Надежды во избежание североафриканских опасностей. Несмотря на эти меры предосторожности и усилия британского военного флота по охране жизненно важных морских путей – хотя нужно сказать, и пандит Неру так и сказал, находясь в тюремной камере, что отношение Англии к безопасности индийских торговых судов было, мягко говоря, наплевательским, – эти два парохода, как и первый, хорошо поперчили океанское дно; и империя специй “К-50” (как, может быть, и вся Британская империя, лишенная перечного взбадривающего) ослабла и пошатнулась. Жалованье служащим, эксплуатационные расходы, проценты по кредитам... Но я не финансовый отчет пишу, так что попросту поверьте мне на слово: скверно, очень скверно обстояли дела, когда лучезарно улыбающийся Авраам, с некоторых пор – крупный кочинский коммерсант, явился в еврейский квартал. “Ужель погубило все, без исключения?.. И ни один корабль не спасся?”⁴⁸ – Ни один. Ясно? Тогда идем дальше. На очереди волшебная сказка.

В конечном счете все, что остается от нас, – это легенды, наше посмертное существование сводится к нескольким полузабытым историям. И в самых лучших из старых сказок, в тех, что мы готовы слушать вновь и вновь, непременно есть любящие, это верно, но лакомей всего для нас те места, где на их счастье ложится мрачная тень. Отравленное яблоко, заколдованное веретено, Черная королева, злая ведьма, ворующие детей гоблины – вот оно, самое-самое. Ну так слушайте: жил-был в некотором царстве, в некотором государстве Авраам Зогойби, и поставил он все на карту, и проиграл. Но ведь он поклялся: “Я буду о тебе заботиться”. И ни в чем не было ему удачи, и в такое пришел он великое отчаяние, что, улыбаясь во всю ширь лица, явился он с просьбой к своей безумной матери. Вы спрашиваете, о чем была просьба? О ее ларце с сокровищами – о чем же еще.

Смирив свою гордость, Авраам пришел как проситель, и уже по одному этому Флори могла судить, сколь выигрышно ее положение. Он дал обещание и не может его исполнить – не может превратить труху в золото, старая как мир история; и слишком горд, чтобы признаться в поражении свойственникам и сказать, что они должны продавать или закладывать свои рос-

⁴⁸ Шекспир “Венецианский купец”.

кошные владения. “Ты голову давал на отсечение, Ави, и гляди, вот она на блюде”. Флори заставила его подождать, недолго совсем, и согласилась. Нужен капитал? Драгоценности из старого ларца? Отчего же не дать, можно дать. От всех его изъявлений благодарности, от всех разъяснений о временных трудностях с наличностью и рассуждений об особенно убеждающем действии драгоценностей на моряков, которые, выходя в плавание, рискуют жизнью, от всех предложений доли в будущих доходах она разом отмахнулась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.